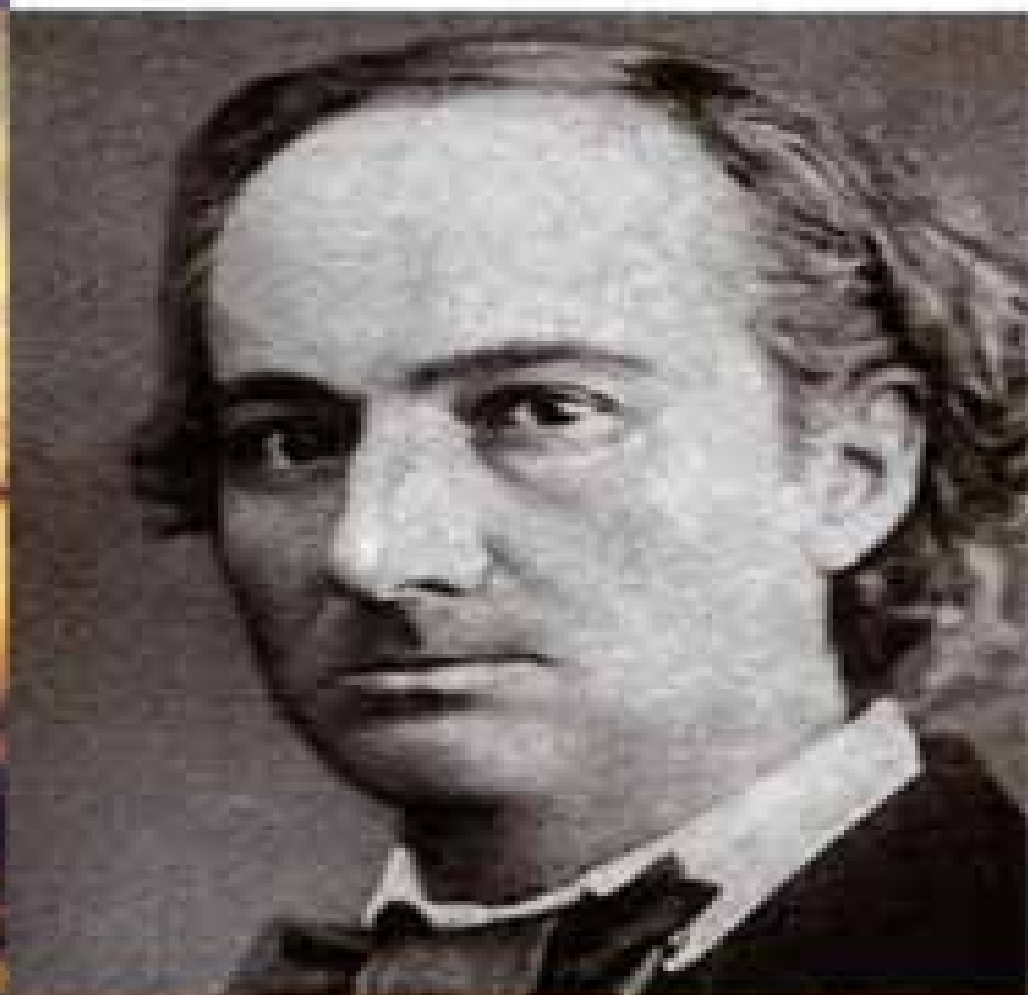


# БОДЛЕР



Жан Батист  
Баронян



ЖЭЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

## Annotation

Известный бельгийский писатель Жан Батист Баронян описывает в своей книге драматическую судьбу одного из самых ярких предшественников французского символизма Шарля Бодлера (1821–1867). Его поэтические творения вызывали в обществе самые противоречивые чувства — от восхищения до негодования, а за публикацию цикла стихов «Цветы зла» Бодлера обвинили в попрании моральных устоев и подвергли суду. Но Бодлер был также и очень талантливым публицистом и переводчиком. Статьи и очерки, посвященные художникам и литераторам, и переводы произведений Эдгара По занимали в его творчестве не меньшее место, чем поэзия. Его несомненные дарования признавали такие столпы французской литературы, как Гюго, Готье, Сент-Бёв, а выдающиеся художники Курбе, Делакруа и Мане писали его портреты.

Издание осуществлено при поддержке Министерства культуры Франции (Национального центра книги).

Ouvrage publié avec l'aide du Ministère français chargé de la Culture — Centre national du livre.

- 
- [Жан Батист Баронян](#)
    - [ЛЮБОВНИК СМЕРТИ](#)
    - [К ЧИТАТЕЛЮ](#)
    - [ЗАПАХ СТАРЬЯ](#)
    - [НЕЖДАННОЕ ЗЛО](#)
    - [ЧЕСТЬ КОЛЛЕЖА](#)
    - [ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ](#)
    - [НА ЮЖНЫХ МОРЯХ](#)
    - [ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА](#)
    - [СТИШКИ В КРУГУ ДРУЗЕЙ](#)
    - [«ТАНЦУЮЩАЯ ЗМЕЯ»](#)
    - [КРУГОМ ИДЕТ ГОЛОВА](#)
    - [СВЕТ И МРАК](#)
    - [ЛЮБОВЬ ВСЕГДА](#)
    - [НОВЫЙ САЛОН](#)
    - [НЕКИЙ САМЮЭЛЬ КРАМЕР](#)
    - [НА БАРРИКАДАХ](#)
    - [НЕУСТОЙЧИВЫЙ ЖУРНАЛИСТ](#)

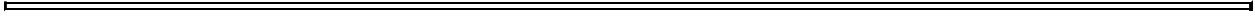
- [ВРЕМЯ УПАДКА](#)
- [МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗДАТЕЛЯМИ](#)
- [ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ МУЖЧИНА](#)
- [ПРОКЛЯТЫЙ СВЯТОЙ](#)
- [ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТШЕ](#)
- [ИСПОВЕДЬ ДУШИ](#)
- [НО КАК ИЗ ЭТОГО ВЫЙТИ?](#)
- [БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА](#)
- [ЭДГАР ПО ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ](#)
- [НЕГОДЯЙ, НЕВЕЖДА](#)
- [НАКОНЕЦ ДИТЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ](#)
- [ДВОЙНОЕ ПОРАЖЕНИЕ](#)
- [ЖИЗНЕННЫЕ НЕВЗГОДЫ](#)
- [«АНСЕЛЬ — НЕГОДЯЙ»](#)
- [ДВЕ ЖЕНЩИНЫ](#)
- [«ВЛАСТЕЛИН ПАДАЛИ»](#)
- [НАСЛАЖДЕНИЕ МУЗЫКОЙ](#)
- [ВОЗВРАЩЕНИЕ В НЕЙИ](#)
- [ОБНАЖЕННОЕ СЕРДЦЕ](#)
- [ВИЗИТЫ ВЕЖЛИВОСТИ](#)
- [ГОДЫ БЕДСТВИЙ](#)
- [В ПОГОНЕ ЗА ИЗДАТЕЛЯМИ](#)
- [ВСЕ ГЛУПОСТИ ВЕКА](#)
- [ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ](#)
- [ЛЮДИ И ВСЕ ПРОЧЕЕ В БЕЛЬГИИ](#)
- [ВРЕМЯ СКУКИ](#)
- [«ТЛЕН СРЕДИ ТЛЕНА»\[53\]](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ШАРЛЯ БОДЛЕРА](#)
- [Иллюстрации](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)

- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)

- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)



**Жан Батист Баронян**  
**БОДЛЕР**

## ЛЮБОВНИК СМЕРТИ

Шарлю Бодлеру в России повезло. Еще в XIX веке он был знаменит в нашей стране больше других, не менее талантливых французских поэтов той эпохи — тайновидца Жерара де Нерваля, причудливого Лотреамона, витиеватого Стефана Малларме. Известностью с ним могли поспорить только неразлучные Верлен и Рембо, присвоившие прозвище «проклятых поэтов», хотя первым так окрестил себя именно Бодлер.

Он имел на это все права. Ненавидевший окружавших его людей и ненавидимый ими, вечно безденежный, изглоданный сифилисом и нервной горячкой, запивавший гашиш абсентом, он умер, едва дотянув до 46 лет. Умер, оставив после себя, по большому счету, одну книгу — стихотворный сборник «Цветы зла», который яростно ругали официальные критики и так же неумеренно хвалила радикальная молодежь. Бодлер, убежденный консерватор, после смерти вдруг сделался глашатаем революционных перемен в жизни и искусстве. Многие до сих пор считают его таковым, однако каждое поколение читателей не только во Франции, но и в других странах вырабатывает (можно сказать «вымучивает», ибо поэзия Бодлера мучительна при всей своей чарующей легкости) свое отношение к нему.

В России эта смена поколений особенно заметна при взгляде на трех главных переводчиков бодлеровской поэзии. Первым из них был революционер-народник Петр Якубович (1860–1911), переводивший стихи французского поэта на страшной Акатуйской каторге и анонимно издавший их в 1895 году с восторженным предисловием Константина Бальмонта. По отзывам современников, Якубович видел в Бодлере западного Некрасова, певца народных страданий и обличителя язв капитализма. Понятно, что в своих переводах он усиливал именно это направление, смягчая или вовсе выбрасывая неуместные, с его точки зрения, алкогольно-эротические мотивы. Тем же занимались другие близкие народничеству литераторы, включая поэтов-«искровцев» Д. Минаева и Н. Курочкина, пытавшихся переводить Бодлера еще при его жизни.

Выход «Стихотворений Бодлера» в переводе Якубовича совпал с подъемом символизма, воспевавшего героя-творца, равнодушного к мнению толпы, к ее морали и вкусам. Естественно, Бодлер и здесь пришелся ко двору — в начале XX века, помимо отдельных переводов И. Анненского, К. Бальмонта, Вяч. Иванова, появились три практически полных переложения «Цветов зла», выполненных А. Альвингом

(Смирновым), А. Пановым и Эллисом. Самым талантливым из этих забытых ныне поэтов был Эллис, он же Лев Кобылинский (1879–1947) — друг Андрея Белого, теоретик символизма, неутомимый организатор журналов, вечеров и лекций. В своей интерпретации Бодлера он подчеркивал в первую очередь «красивости», в символистской трактовке отнюдь не исключавшие ни наркотиков, ни продажной любви. На сей раз, в противовес Якубовичу, затенялось все обыденное, «приземленное», что присутствовало в «Цветях зла». При этом Эллис тоже считал поэта «потрясателем основ», вопрошая читателей: «Известно ли вам, что Бодлер — самый большой революционер XIX века, и перед ним Марксы, Энгельсы, Бакунины... просто ничто?»

В целом линии Эллиса придерживались и последующие переводчики — Б. Лившиц, П. Антокольский, В. Шершеневич, хотя после 1917 года были и малоудачные попытки (Л. Остроумов и др.) представить «проклятого поэта» буревестником революции. Особняком стоит блестящий перевод «Плавань», сделанный в 1941 году, незадолго до гибели, Мариной Цветаевой, которая лучше всех проиллюстрировала тот факт, что в стихах Бодлера романтическая форма уравнивает, а то и вытесняет «антиромантическое» содержание. Однако перевод Цветаевой — не просто иллюстрация, а конгениальное переосмысление бодлеровского текста в бурном XX веке, в котором темп оригинала произвольно ускоряется, а его холодноватый сплин сменяется тем гибельным восторгом «у бездны мрачной на краю», что окрашивает все позднее цветаевское творчество.

Этот перевод много лет не публиковался, что отразило отношение советского официоза не только к Цветаевой, но и к самому Бодлеру — из обличителя буржуазии он превратился в сомнительного певца пьянства и разврата, к тому же представителя «гнилого Запада», чье культурное наследие в годы холодной войны просачивалось в СССР в гомеопатических дозах. Лишь с наступлением оттепели «оттаял» и интерес к французскому классику, результатом чего стало появление бодлеровского «Избранного» (1965) и полного издания «Цветов зла» в знаменитой серии «Литературные памятники» (1970). В значительной мере эти изящные томики состояли из переводов Вильгельма Левика (1907–1982). Виртуоз слова, превосходно знавший четыре европейских языка, Левик по первой профессии был художником, что отразилось и на его переводческом искусстве. Ему прекрасно поддавались картинные, описательные стихи Гейне, Байрона, Ронсара с их классической прозрачностью, а вот в передаче пылких, часто сбивчивых чувств и мыслей Шекспира он явно потерпел неудачу. Бодлер,



как и большинство французских поэтов, ближе к «ронсаровскому» типу, поэтому Левику удалось передать его по-русски вполне адекватно... если бы не одно «но». Тщательно соблюдая верность оригиналу, он избегает всякой модернизации текста — и тем самым «запирает» автора «Цветов зла» в его времени, не давая ему прорваться к тем читателям, которые видят в стихах не застывшую историческую иллюстрацию, а камертон собственной души.

Различие в подходе к переводам Бодлера и к поэтическому переводу вообще можно показать на примере хрестоматийного стихотворения «Альбатрос». Тем, кто считает французского поэта досужим выдумщиком, полезно будет узнать, что стихотворение буквально воспроизводит эпизод его морского путешествия. Тогда Шарль кинулся в драку, защищая раненого альбатроса, над которым издевались скучающие моряки. Естественно, поэту надавали тумачков, а из альбатроса приготовили праздничный обед по случаю пересечения экватора. Но речь не об этом, а о последней строфе:

Le Poète est semblable au prince des nuées  
Qui hante la tempête et se rit de l'archer;  
Exilé sur le sol au milieu des huées,  
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

В дословном переводе она звучит так: «Поэт подобен этому облачному принцу, который шутит с бурей и смеется над лучниками — он брошен на землю, в гущу насмешек, и крылья великана мешают ему ходить». Вот как эту довольно банальную, но блестяще выраженную мысль передает П. Якубович:

Поэт, вот образ твой! Ты также без усилия  
Летаешь в облаках, средь молний и громов,  
Но исполинские тебе мешают крылья  
Внизу ходить, в толпе, средь шиканья глупцов.

Изложено точно, но всё портит последняя строка с «шиканьем» (сейчас далеко не все поймут, что это слово вообще значит) каких-то непонятных «глупцов» — не иначе буржуев. В этом же переводе альбатроса «кладут» на палубу, и он «застенчиво влачит» там свои крылья.

Может быть, поклонник изящного Эллис лучше справился с задачей?

Поэт, вот образ твой!.. ты — царь за облаками;  
Смеясь над радугой, ты буре вызов шлешь! —  
Простертый на земле, освистанный шутами,  
Ты исполинских крыл своих не развернешь!

Нет, не похоже. Помимо обилия восклицательных знаков, в оригинале отсутствующих, адекватному восприятию мешает неуклюжая глагольная рифма. Она мозолит глаза и в остальных строфах стихотворения, которые и вовсе напоминают подстрочник: «Тот сует свой чубук в твой клюв окровавленный; другой смешит толпу: как ты, хромает он». Пожалуй, удачнее перевод собрата Эллиса по символизму Дмитрия Мережковского:

Поэт, как альбатрос, отважно, без усилья,  
Пока он — в небесах, витает в бурной мгле,  
Но исполинские невидимые крылья  
В толпе ему ходить мешают по земле.

Смысл прозрачен, форма безупречна, однако ушли детали, которые придают стихотворению дополнительные оттенки. Исчезло шиканье (или свист), пропал диалог альбатроса с бурей, а лучники в русских переводах вообще отсутствуют, как класс. Исключением стал только В. Левик, который перевел тот же отрывок следующим образом:

Так, поэт, ты паришь над грозой, в урагане,  
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,  
Но ходить по земле среди свиста и брани  
Исполинские крылья мешают тебе.

Тут все слова на месте — но шестистопный ямб оригинала заменен на четырехстопный анапест, что вообще-то недопустимо. Можно понять, что переводчик таким образом пытался вместить в текст все слова, которые у его коллег «вылезают» в соседние строки из-за менее емкого стихотворного размера. Но тогда честнее было бы вообще перевести стихотворение прозой, как С. Малларме перевел стихи обожаемого Бодлером Эдгара По. И

все блестящие переводческие удачи В. Левика (к примеру «опозоренный царь высоты голубой») отнюдь не компенсируют подобного произвола. Всего известно полтора десятка русских переводов «Альбатроса», но ни один из них не может считаться адекватным. Совсем недавно появился новый перевод, принадлежащий известному переводчику Владимиру Микушевичу. Конечно, он не «ставит точку» в рассматриваемом вопросе, но зато открывает новый, связанный уже с XXI веком этап переводов Бодлера на русский язык.

Предлагаемое читателям жизнеописание Шарля Бодлера, принадлежащее перу бельгийского писателя и критика Жана Батиста Бароньяна, — уже вторая биография поэта на русском языке. Первая вышла в 2006 году в рамках той же серии «Жизнь замечательных людей»; ее автор — известный французский писатель Анри Труайя (Лев Тарасов). По странному совпадению, обе книги написаны франкоговорящими авторами армянского происхождения. Что свидетельствует, конечно, не об особом интересе армян к Бодлеру, а о том, что его творчество близко и интересно людям разных национальностей. Кстати, сам Бодлер, в отличие от большинства французских писателей его времени, убежденных в культурном превосходстве своей родины, живо интересовался литературой других стран. Долгое время он был больше известен не как поэт, а как переводчик Эдгара По, Томаса Де Куинси, Генри Лонгфелло.

Но интерес к чужой культуре был лишь самой невинной «странностью» автора «Цветов зла». Куда неприятнее для окружавших его добропорядочных буржуа было его настойчивое стремление эпатировать публику. И не обязательно стихами — он мог в светском разговоре непринужденно ввернуть: «А вы пробовали мозги младенца? Очень вкусно, похоже на свежие орехи». Корни подобного хулиганства, как показывает автор биографии, таятся в детстве Бодлера, когда он, одинокий и нуждавшийся в любви, отчаянно пытался привлечь внимание матери, старшего брата, даже солдафона-отчима — но они игнорировали его, занятые своими делами. Тогда он и решил, что интереса к себе можно добиться только «от противного». Чтобы заинтересовать коллег-писателей, он с ходу грубил им; чтобы обаять даму, расписывал ей в красках симптомы сифилиса, которым заразился от уличной девки. Даже Бога, в которого в юности искренне верил, он пытался заинтриговать тем, что проклинал его, вознося хвалы Сатане.

Позднее так же вели себя Артюр Рембо и другие «проклятые поэты». Но они жили уже в новых условиях, с самого начала зная, что общество, семья, церковь — их враги, от которых ничего хорошего ожидать нельзя.

Бодлер же вырос в консервативную эпоху Июльской монархии, когда во главу угла ставились послушание и практичность. Сперва он честно старался быть послушным и практичным — и в школе, где до обморока зубрил постылую латинскую грамматику, и на юридическом факультете, и в отношениях с родными, без конца журившими его за подлинные и мнимые грехи. Потом наступил срыв — удрав из-под родительской опеки, юноша с головой кинулся не только в литературу, но и в омут парижских злочных заведений. Мать и отчим надеялись, что он перебесится и заживет, как все, но не тут-то было. Скандальное сожительство с актрисой-мулаткой Жанной Дюваль, неудачные попытки написать «кассовый» роман, издание «Цветов зла», вызвавшее громкий судебный процесс, — все это шаг за шагом приближало поэта к краю пропасти, куда он в конце концов и рухнул, устав непрерывно бороться с жизнью. Говорят, что последним его словом было «проклинаю!» — но его не расслышал даже стоявший у изголовья постели священник, приглашенный матерью против воли умирающего.

Несчастливая жизнь Бодлера определила круг тем его поэзии — суэта и скученность большого города, бедность, болезни, смерть. С этим диссонирует традиционное для романтиков изображение экзотических стран, счастливых «допотопных» времен, ангелов и богинь. Иногда противоположности сходятся на соседних страницах, иногда — в одной строке: «Величье низкое, божественная грязь...» Эти слова посвящены женщине, одной из трех главных тем стихов поэта, которые вряд ли можно назвать «любовными»: слишком часто в них к любви примешивается ненависть. Лирический герой «Плаванья» повсюду видит одну картину:

Ее, рабу одра, с ребячливостью самки  
Встающую пятой на мыслящие лбы,  
Его, раба рабы: что в хижине, что в замке  
Наследственном: всегда — везде — раба рабы!<sup>[1]</sup>

Бодлер знал, что и сам он, несмотря на показное презрение к женскому полу, остается таким же рабом — и привычно боролся с этим с помощью эпатажа. В стихотворении «Падаль», обращенном к предмету его очередного увлечения, актрисе Мари Добрен, он сперва «преподносит» возлюбленной разлагающуюся тушу лошади, описывая ее во всех деталях, потом прямо проводит шокирующую параллель между ними:

Но вспомните: и вы, заразу источая,

Вы трупом ляжете гнилым,  
Вы, солнце глаз моих, звезда моя живая,  
Вы, лучезарный серафим...<sup>[2]</sup>

Здесь тема женщины плавно переходит в тему смерти — второй главный мотив лирики Бодлера, отчасти заимствованный у его любимца Эдгара По. Но по-английски это слово относится к мужскому роду, и для По *Death* — привычный, хоть и надоедливый старый сосед. Французское *Morte*, напротив, женского рода, и смерть Бодлера — адская кокотка, отвратительная и влекущая одновременно:

Иные, может быть, пройдут с усмешкой мимо.  
От плоти опьянев, увидят ли они,  
Что стройный твой скелет красив неизъяснимо?  
Ты, царственный костяк, душе моей сродни.<sup>[3]</sup>

«Цветы зла» мастерски выстроены подобно симфонии — в спокойную поначалу музыкальную ткань одна за другой вплетаются резкие ноты тоски, отчаяния, преступления, сливающиеся в итоге в могучую тему смерти. Она таится и в труде, и в искусстве, и в любовных объятиях, подавляя и заполняя собой все. И бесцельное будто бы скитание героя «Плаванья», оказывается, имеет ту же цель:

Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!  
Мы жаждем, обзрев под солнцем все, что есть,  
На дно твое нырнуть — Ад или Рай — едино! —  
В неведомого глубь — чтоб новое обрести!<sup>[4]</sup>

Однако это «новое» при ближайшем рассмотрении оказывается такой же иллюзией. За пределами бытия — лишь мрак, все мечты о жизни за гробом иллюзорны. Обнаружив это, Бодлер действительно проявляет себя революционером, призывая бороться за лучшую жизнь в этом мире. К разочарованию народников всех мастей, бороться он хочет не с людьми, а с Богом, призывая на помощь Сатану — «друга отверженных и исповедника бунтарей». Правда, в стихотворении «Авель и Каин» речь заходит уже о борьбе бедняков («детей Каина») с богатыми и пресыщенными «детьми

Авеля»:

Авеля дети! теперь берегитесь!  
Зов на последнюю битву я внемлю!  
Каина дети! на небо взберитесь!  
Сбросьте неправого бога на землю!<sup>[5]</sup>

Бунт — третья главная тема Бодлера, хотя часто она скрыта, растворена в издевке и холодном отвращении. За пределами «Цветов зла» остались его статьи, рецензии, письма, где он едко высмеивает всех столпов тогдашнего общества, от императора Наполеона III до своего бывшего кумира Виктора Гюго. Осмеянию подвергаются и любовь, и искусство, и (конечно же) религия. Поэт не раз говорил, что в конце жизни обратится в какую-нибудь экзотическую веру, а потом отречется и от нее — «чтобы продемонстрировать свое неприятие всякой глупости». Нарушая главное писательское табу, он издевается даже над читателем, предупреждая его:

Брат, ищущий в наш век железный,  
Как я, в свой рай неторный путь,  
Жалей меня... Иль проклят будь!<sup>[6]</sup>

Это «жалей меня» невольно выдает тайну Бодлера, показывая, что главное в его стихах — вовсе не похвалы Сатане, не обличение коварства женщин и тем паче не призыв к революции. Главное — тот «стон угнетенной твари», тот протест нестандартно мыслящего и тонко чувствующего человека против несовершенства мира, что всегда вызовет у таких же, как он, понимание и сопереживание.

*Вадим Эрлихман*

## К ЧИТАТЕЛЮ

Эта книга призвана воссоздать жизнь Шарля Бодлера так, как она протекала год за годом, от рождения до смерти. Все появляющиеся в ней персонажи, знаменитые или нет, представлены одинаково, в зависимости от того, кто они и что делают в данный момент, а не в свете того, кем они стали и что сделали впоследствии. Именно по этой причине, дабы соблюсти связь и избежать любого анахронизма, названия улиц, организаций и учреждений, равно как и названия цитируемых произведений везде приводятся такими, каковыми они были известны при жизни поэта.

*Ж. Б. Б.*

## ЗАПАХ СТАРЬЯ

Право, довольно странная пара дала жизнь Шарлю Бодлеру 9 апреля 1821 года в доме 13 по улице Отфёй, между улицей Сент-Андредез-Ар и улицей Экольде-Медсин, в квартале Сен-Жермен в Париже.

Когда ребенок появился на свет, его отцу, Жозефу Франсуа Бодлеру, было уже шестьдесят два года. Рожденный в семье землевладельцев Шампани, Жозеф Франсуа в очень раннем возрасте начал учиться и, не блистая какими-то особенными способностями, добился в коллеже Сент-Мену, бывшей столицы Аргонна, хороших отметок по французскому, латинскому и греческому. Поступив в Париже в семинарию Сент-Барб, он прослушал курс лекций по философии в Сорбонне и какое-то время помышлял о церковной карьере, собираясь стать священником. Однако жизнь распорядилась иначе. Быть может, он чувствовал неодолимое влечение к томным обычаям общества XVIII века. Того самого общества, которое все еще почитало монархию и дворянство. Которое сочетало благопристойность и лицемерие. Которое соединяло учтивость и кривлянье, любило хорошие манеры, красивые наряды, художественную литературу и изящные искусства и которое в те, 1780-е годы даже не задумывалось ни о своем закате, ни о возможном крушении своих ценностей.

И вот в 1785 году Жозеф Франсуа Бодлер стал наставником детей в доме графа Антуана де Шуазель-Праслен. Там его очень любят. Ценят его скромность. Считают его и замечательным педагогом, и безупречным дворянином. Не боятся рекомендовать его светским людям, в частности госпоже Гельвеции, в салоне которой в Отёй всегда собираются лучшие умы: Кондийак, Тома, Д'Аламбер, Дидро, Д'Ольбак, Кондорсе, Франклин, Лаплас, Вольтер, Кабанис...

Жозеф Франсуа Бодлер был настолько послушен, учтив и осторожен, что смены политического режима на нем не сказывались. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после Революции и Террора, благодаря протекциям, которыми он пользовался, при Империи его назначили секретарем административной комиссии и контролером расходов сената, а затем, в 1805 году, — начальником канцелярии, что обеспечило ему служебные апартаменты в Люксембургском саду.

Одиннадцать лет спустя он был необычайно счастлив, получив возможность выйти в отставку. И новый режим, пришедший на смену



Наполеону, сосланному на остров Святой Елены, не имея ни малейшего серьезного мотива поставить Бодлеру что-либо в упрек, назначил ему весьма приличную пенсию.

С той поры у Жозефа Франсуа Бодлера появилось время, чтобы посвятить себя тому, что, по сути, более всего его увлекало: живописи. Ибо после посещения салона госпожи Гельвеции и общения с прославленными людьми он пристрастился к кисти и находил удовольствие в писании картин гуашью. К тому же его друзьями стали художники Пьер Поль Прюдон и Луи Леопольд Буальи, оба примерно одного с ним возраста, скульптор Клод Рами и Жан Нэжон, хранитель музея Люксембургского дворца, принадлежавшего сенату. По сравнению с ними он, однако, всего лишь жалкий любитель, и его творения, аллегории и в особенности ню не имели никакого блеска. Увлекается он также коллекционированием картин, статуэток, мебели, искусно отделанной красным деревом, орехом или лаком, безделушек, предпочтительно эпохи Людовика XVI, и множества прекрасных старинных вещей<sup>[7]</sup>

Полностью погруженный отныне в свою живопись, он вместе с тем непременно желает вновь жениться. Его жена, урожденная Розали Жанен, с которой он сочетался браком в 1797 году, скончалась в 1815 году, оставив ему сына, Клода Альфонса (который родился в 1805 году), и несколько гектаров земли. Вполне достаточно, чтобы сделать из него достойного и привлекательного вдовца. Хотя он приближался к своему шестидесятилетию и несколько утратил былую осанку.

Жозеф Франсуа Бодлер обратил внимание на воспитанницу одного из своих старинных друзей Пьера Периньона, с которым он когда-то встретился в коллеже Сент-Мену и который теперь являлся одним из самых успешных адвокатов в Париже. Воспитанницу звали Каролина Дюфай. Она родилась в Лондоне в 1793 году и была дочерью эмигрировавшего во время Революции офицера. Каролина не лишена была определенного очарования. По крайней мере такого очарования, какое требуется, чтобы взволновать добросовестного чиновника, коим он уже не был, и жанрового художника, каковым ему хотелось бы стать, — короче говоря, чтобы вызвать у него сластолюбивые мысли и распутные фантазмы. В конце концов разве он, Жозеф Франсуа Бодлер, не являлся истинным отпрыском долгого века эротических фривольностей и сентиментальных шалостей? И разве он не был достаточно обеспеченным человеком, чтобы осчастливить скромную девушку хорошего происхождения?

Каролине Дюфай было двадцать шесть лет, когда в сентябре 1819 года Жозеф Франсуа Бодлер сочетался с ней вторым браком. Безусловно, она

могла бы надеяться на лучшую партию, но если присмотреться поближе, то становится ясно, что все подготовило ее к такого рода замужеству: жалкое положение бедной сиротки, воспитание в старинном духе, место, совсем крохотное место, которое она занимала в многочисленном семействе своего опекуна — в семействе Периньон, где никто ничего не понимал ни в искусстве, ни в бесчисленных уладах ума.

Итак, эта странная пара 9 апреля 1821 года произвела на свет Шарля Бодлера и крестила его 7 июня в церкви Сен-Сюльпис в присутствии Пьера Периньона и его жены, крестного отца и крестной матери<sup>[8]</sup>

Престарелому папе исполнилось, стало быть, шестьдесят два года, а молодая мама на тридцать четыре года была моложе своего мужа. Отец, на котором лежала печать пышных празднеств минувшей эпохи, и мать, внезапно открывшая для себя плотскую любовь и вместе с тем капризы старикашки. Отец, чуточку дилетант, взгляды которого сформировались в изысканных светских салонах XVIII столетия и тяжеловесных административных кабинетах, и робкая, легковерная, боязливая мать, для которой материнство стало даром небес, своего рода чудом, а роды — искуплением за злую судьбу. Престарелый отец, друзья которого тоже, разумеется, были в возрасте, и мать в расцвете лет, у которой вообще нет друзей, если не считать одного из четверых детей ее опекуна.

Этот невероятный контраст маленький Шарль почувствовал очень рано и очень быстро. У него дома на улице Отфёй<sup>[9]</sup>се устарелое, и люди, которых он видит, с которыми беседует его отец или ходит в театр, тоже все старики. Старые хрычи. Старые калоши. Деды. Когда он идет играть в Люксембургский сад, в двух шагах от дома, то видит, как отец встречается с другими стариками, бывшими своими коллегами из сената, словом, компания старческая, чуть ли не дряхлая. И дело не только в том, что это престарелый народ, а в том, что это народ, который источает запахи старости — ужасные, тошнотворные, отвратительные, гнилостные, «смердные», «нечистые, ядовитые». Шарль не может этого не отметить, не может не отложить где-то в памяти, в самой глубине своего существа.

Однако вместе с тем отцовские апартаменты предоставляют уголки, где можно иногда укрыться не без приятности, таинственные зоны полумрака, разжигающие воображение. Некоторые предметы — Аполлон или Венера из гипса, часы, глобус на камине, японская фарфоровая ваза для цветов, жардиньерка из дельфтского фаянса, медный подсвечник, гуашь, постель порождают мечтания, открывают двери в сказочные края.

И еще есть библиотека, где Жозеф Франсуа Бодлер собрал свои

любимые литературные и художественные предпочтения и где с «Энциклопедией» Дидро и Д'Аламбера в издании 1772 года он, так сказать, институционализировал у себя на дому восторжествовавшие знания XVIII века, с которым он, возможно, так никогда и не распрощался. Все эти книги притягивают Шарля как магнитом. Он подолгу смотрит на них, а когда искушение слишком велико, изучает их тайком, предпочитая альбомы со множеством картинок и эстампов.

В это же доме, на улице Отфёй, живет сводный брат Шарля — Клод Альфонс. Он старше на шестнадцать лет и, по счастью, вполне ладит с новой госпожой Бодлер. Однако разница в возрасте слишком велика, чтобы между ними установились тесные связи, и они поддерживали по-настоящему братские отношения. К тому же Клод Альфонс — студент юридического факультета, в 1825 году он был принят в парижский Королевский суд в качестве адвоката. Словом, в ту пору Шарль едва сознает, что у него есть старший сводный брат.

Десятого февраля 1827 года *старик* Жозеф Франсуа Бодлер позволил себе самую последнюю учтивость: он умер без особого шума, не доставив большого беспокойства, не оставив безутешных существ. Через два дня о его кончине сообщили в окружную мэрию, расположенную неподалеку от сената, на улице Гарансьер.

Шарлю нет еще и шести лет. В тот момент он не совсем осознает, что произошло, что с *ним* произошло. Однако понимает, что матери, его дорогой и обожаемой матери, не придется больше делить свои привязанности. Отныне, смутно ощущает он, вся любовь будет только для него, только для них обоих. Только для них одних — двух влюбленных сердец, немного потерянных, которые обретут друг друга. Прежде это было невозможно из-за сложившихся обстоятельств. Они и не предполагали, что все может так обернуться.

## НЕЖДАННОЕ ЗЛО

Еще немного, и это могло бы стать жалобной мелодрамой в трех актах.

В первом действуют два главных персонажа: молодая вдова, бесцветная и кокетливая, и мальчик шести лет, беспокойный и наделенный чрезвычайно богатым воображением; Каролина Бодлер, образец идеальной матери, и Шарль Бодлер, неуравновешенный, горячий мальчишка. Каждый из них нуждается в нежности, огромной нежности; они оба нуждаются друг в друге. Вместе они совершают длительные прогулки, один день — в Люксембургский сад, другой день — на набережные Сены, разъезжают в фиакре, часто бывают в Нёйи, где природа прекрасна и все вокруг благоухает и где проживает Нарсисс Дезире Ансель, нотариус семьи...

Счастье?

Но что в своем возрасте Шарль мог знать о счастье? Что он вообще мог знать о жизни? И в особенности что он мог знать о любви, о женщинах, об их желаних, их капризах, их волнениях? И что она, Каролина, могла знать о своем сыне и тех глубоких чувствах, которые воодушевляли его, о его неясных чаяниях?

В этом первом акте присутствовали, кроме того, Мариэтта, служанка, добрая, сердечная женщина, подле которой Шарль всегда чувствовал себя очень счастливым. И второстепенные действующие лица, такие, как Пьер Периньон, крестный отец, Клод Альфонс, сводный брат, которого смерть отца несколько сблизила с семьей, и еще Нарсисс Дезире Ансель и его жена.

Это все хорошие люди. По крайней мере в глазах Шарля.

*Плохой* — его пока нет, но его приближение уже угадывается. Иногда по вечерам Каролина Бодлер позволяет увезти себя таинственному человеку, у которого еще нет имени, это всего-навсего некая тень, внушительный силуэт в сумерках.

Второй акт мелодрамы, через двадцать месяцев после кончины Жозефа Франсуа Бодлера, начинается с сенсации: едва закончился траур, Каролина неожиданно выходит замуж! Счастливого избранника зовут Жак Опик. Родился он на севере, в Гравлине, в год взятия Бастилии, ему, стало быть, тридцать девять лет и в настоящий момент он командир батальона и адъютант своего покровителя, князя Гогенлоэ.

Он — военный. Самый что ни на есть настоящий. «Затянутый в свою прямоту, словно в мундир, всегда со шпагой наготове, с решительным

лицом солдата и притом галантный кавалер»<sup>[10]</sup>. Кроме того, он — усыновленный ребенок, и наверняка это обстоятельство не могло оставить Каролину равнодушной.

Безусловно, вручая себя этому человеку, человеку того же поколения, что и она сама, Каролина надеется также подарить своему сыну нового отца, который немного схож с нею, — как и она, он жил в приемной семье и знает, что значит быть сиротой. К тому же отца, который в состоянии будет материально обеспечить воспитание ребенка, ибо она уже не может рассчитывать на пенсию, пожалованную некогда Жозефу Франсуа. Ведь после его смерти ей пришлось покинуть апартаменты на улице Отфёй и поселиться на улице Сент-Андредез-Ар, сократив свои расходы.

Кроме того, у Жака Опики приятная наружность. Он в добром здравии, хорошо образованный, трудолюбивый, упорный, он лоялен и вместе с тем оппортунистичен, он честолюбив, весьма честолюбив и хочет преуспеть любой ценой, подняться как можно выше в военной иерархии. В общем, его нельзя упрекнуть в равнодушии к почестям. Вот сколько черт отличает его от Жозефа Франсуа, честного степенного чиновника, просвещенного человека, художника-любителя.

Словом, брак по расчету, это почти очевидно, но всем известно, что у разума, как и у сердца, свои резоны.

И вот, в ноябре 1828 года начинается третий акт мелодрамы, причем в новых декорациях: квартира в доме 17 по улице Бак, неподалеку от Сены. На сей раз главных действующих лиц трое: Каролина Опик (теперь придется называть ее именно так), Жак Опик и *малыш* Шарль Бодлер.

Поначалу он по-настоящему взволнован внезапной переменой, навязанной ему неожиданным замужеством матери. Впрочем, он не испытывает вражды к человеку, который только что занял место его престарелого отца, хотя находит его довольно скованным в манерах и довольно строгим в отношениях с окружающими.

Со временем он все больше ощущает, что Жак Опик оказывает на него давление, обращается с ним, как с одним из своих подчиненных, и держит в ежовых рукавицах. И он начинает ему сопротивляться, не соглашается с его советами, нарушает его указания. Шарль постепенно невзлюбил его. А вскоре и возненавидел. Не столько потому, что, как он думает, Жак Опик украл у него материнскую любовь, сколько потому, что неспособен примириться с его манерой существовать, думать и жить.

При столь тягостных обстоятельствах невозможно было не винить отчима во всех бедах. Не считать его «непрощеным гостем». Особенно не принимать его за зло, за плохого. Каковым Жак Опик на самом деле не

являлся.

## ЧЕСТЬ КОЛЛЕЖА

Военная жизнь — это постоянное перемещение. Именно она заставила Альфреда де Виньи родиться в Лоше, Виктора Гюго — в Безансоне, а Александра Дюма — в Шато-Тьерри. И, конечно, это она вынудила Жака Опику после женитьбы на Каролине Бодлер-Дюфаи переезжать из одного гарнизонного города в другой.

Получив звание подполковника, он в 1830 году был направлен в Сиди-Феррюш в Алжире, где провел пятнадцать месяцев, затем поступил в распоряжение министра военного ведомства, а позже получил приказ отправиться в Лион. На этот раз он решает вызвать туда жену и юного пасынка, своего «карапуза», как он любит повторять окружающим.

Для Шарля, которому нет еще и одиннадцати лет, это открытие окруженного холмами города, совсем непохожего на Париж, где часто бывают туманы и где ему редко выпадает возможность погулять в общественных садах. Какое-то время он провел в пансионе Делорм, который показался ему грязным и обшарпанным, затем поступил в интернат пятого класса Королевского коллежа, в то время как его родители поселились на Овернской улице, одной из самых красивых магистралей Лиона.

Нельзя сказать, что там Шарль несчастлив, хотя его школьные успехи весьма посредственны. Он и сам это признает в своих многочисленных письмах сводному брату Клоду Альфонсу.

«Я очень доволен, что учусь в коллеже, — писал он ему. — Я уверен, что наши предки не ели в коллеже, как мы, варенья, компотов, паштетов, пирогов, курятины, индеек и фруктовых пюре, как и многого другого, чего я еще не пробовал».

Он регулярно сообщает брату о полученных им отметках, рассказывает о мельчайших событиях, которые происходят в коллеже, уверяет, что он преисполнен добрых намерений и хочет успешно учиться. Однако порой жалуется, сокрушается по поводу унылых, серых и грязных стен, «сумрачных» классов и «лионского характера», отличного от «парижского характера».

В 1836 году Жак Опик, теперь уже в звании полковника, получил назначение в штаб 1-го военного округа в Париже.

«Итак, мама, папа и я, все мы, наконец, вместе, в Париже, — сразу сообщил Шарль сводному брату, — и я спешу написать тебе, потому что

надеюсь, что ты придешь повидаться со мной». И добавляет: «Я сам бы съездил к тебе, но папа не любит, когда теряют зря время, и я возвращаюсь в лицей, вернее, 1 марта в первый раз иду в лицей Людовика Великого».

Полковник искренне уверен: его пасынок прославит свой новый лицей. Он знает его немного строптивый нрав, но не сомневается, что в лицее Людовика Великого его сумеют приучить к дисциплине.

В 1839 году Шарль Бодлер перешел в класс философии. Пожалуй, он скорее хороший ученик. По крайней мере по тем дисциплинам, которые его интересуют, — это латинское стихосложение и французская речь. Зато по истории он на плохом счету. Преподаватели ценят его, хотя и полагают, что ему недостает «энергии» и «серьезности», да и ум у него «прыгающий». Кое-кто уже считает его эксцентричным, оригиналом, своего рода мистиком, не таким, как другие, и восстающим против всего чуть ли не из принципа. А то и плутоватым юнцом.

Учителя Шарля отмечают его страсть к поэзии. Виктор Гюго, Теофиль Готье, Сент-Бёв — он буквально пожирает их книги и цитирует их по всякому поводу. И каждое их стихотворение заставляет его трепетать, нередко вызывая у него нервную дрожь...

Ему шел восемнадцатый год, когда назревавшая гроза разразилась. Он отказался отдать заместителю директора записку, которую ему передал один из его товарищей. Не подчинившись требованию, он разорвал и проглотил записку. Директору он заявил, что скорее предпочтет быть высеченным, чем выдаст секрет своего товарища. И продолжал упорствовать. Да еще ухмылялся.

Директор лицея вынужден был сообщить об этом полковнику Опику. Письмо, которое он адресует ему, заканчивается следующими словами:

«Таким образом, я возвращаю Вам этого молодого человека, у которого были явные способности, но который все испортил дурным поведением, неоднократно вредившим порядку в лицее».

Полковник почувствовал себя страшно униженным: разве не он утверждал, что пасынок прославит учебное заведение? А ведь ему самому, того и гляди, должны были присвоить звание генерала. Кроме того, он друг герцога Орлеанского, наследника французского трона.

Однако Шарль в каком-то смысле тоже чувствует себя униженным, ибо его мать в полном смятении, ее нервы не выдерживают. Через несколько недель Шарля отправляют на пансион к репетитору. И он решает, подготовившись за короткое время, сдать экзамены на бакалавра.

В августе 1839 года он сдал экзамены. Достоинно. Но без особого блеска.



В действительности Бодлер не испытывал от этого ни малейшей гордости. Можно подумать, что он преуспел на экзаменах лишь из желания угодить родителям. Чтобы не огорчать их еще больше. Почти как дилетант, по примеру своего отца Жозефа Франсуа. Впрочем, Шарль без колебаний распространяет повсюду слух, будто звание бакалавра он получил из сострадания, как ребенок-идиот. Словно он уже тогда стремился придумать себе персонаж, создать себе легенду.

## ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ

Едва получив звание бакалавра, Шарль Бодлер вновь признается старшему сводному брату, ставшему теперь помощником судьи в Фонтенбло:

«Закончился последний учебный год, и у меня начнется совсем другая жизнь; мне это кажется необычным, и среди одолевающих меня тревог самая большая — выбор будущей профессии. <...> Советы, которых я прошу, не слишком мне помогают; ведь чтобы выбрать, надо знать, а я не имею ни малейшего представления о различных жизненных профессиях».

Итак, что выбрать? Чем заняться в жизни?

Он ощущает в себе неистовое рвение, пылкое желание все объять, огромную потребность в приключениях. И чувствует, что в девятнадцать лет он не такой юноша, как другие. Шарль смотрит на окружающих его людей и убеждает себя, что с ними у него нет ничего общего. Не в пример запоздалым приверженцам романтизма, которых, правда, он находит смешными и которые все еще живут временами битвы романтиков с классиками на премьере «Эрнани»<sup>[11]</sup>. И чтобы подчеркнуть свое отличие, он стремится одеваться с большим тщанием, на манер секретаря английского посольства, и никогда не выходит из дома без трости с набалдашником из слоновой кости.

Он не отрицает, что, хотя сам родом из славной французской буржуазии, идеи прогресса ему безразличны. Точно так же, впрочем, как идеи демократии. По его мнению, бунт, мятеж прежде всего изливаются, если только им суждено излиться, душой и сердцем. Плотью и кровью. Словом.

Его шаги — мягкие, неторопливые, почти ритмичные — приводят Шарля в Латинский квартал с переплетением узких и смрадных улочек. Толкают его на поиски людей, о которых он до той поры не имел никакого представления, — эти создания живут в основном замкнуто, взаперти, почти не моются, время проводят в сладострастии и распутстве.

Это сильнее его: ему нужны разом восторг и ужас, грех и прощение, кошмар и мечтания, грязь и блаженство. Словно он был двуликим существом, словно он был самим собой и в то же время своим призраком: ненавидя жизнь, изрыгая проклятия на нее и ее уродства, питая отвращение к существованию и вместе с тем в том же душевном порыве всегда готовый воспламениться, прийти в восторг, приобщиться к новым наслаждениям,

поверить в красоту вещей и «вечные познания».

Во время своих блужданий он как-то ночью познакомился с еврейкой-проституткой Сарой, по прозвищу Косенькая — из-за ее косоглазия, и какое-то время посещает ее на улице Сент-Антуан, где она проживает и где вместе с ней он упражняется в «любовных наслаждениях».

Не от нее ли, бедной потаскушки, он заразился сифилисом?

Впрочем, от нее или от другой — не важно! Ясно одно, что уже в 1840 году Бодлера начинают мучить ужасные головные боли и ломота, и, чтобы умерить свои страдания, ему приходится прибегать ко все более сильным наркотическим средствам.

Он поселился в пансионе Байи на площади Эстрапад. Эмманюэль Байи был одним из основателей «Общества Сен-Венсан-де-Поль». В этом пансионе Бодлер нашел себе друзей. Однокашник по коллежу Людовика Великого, в частности, познакомил Шарля с Гюставом Ле Вавассёром. Уроженец Аржантана, Ле Вавассёр был на два года старше Бодлера. Он оказался неплохим стихоплетом и не лишал себя удовольствия показывать свои стихи Шарлю, дабы узнать его мнение. Равно как и при каждом удобном случае поносить Наполеона, которого он терпеть не мог, считая его бессовестным тираном.

Другой тогдашний друг Шарля из пансиона Байи — Эрнест Прарон, уроженец Абвиля, также пописывает стихи. Любит сочинять басни, не слишком, однако, заботясь о грамматике и красоте стиля.

Иное дело Огюст Дозон, с которым Бодлер познакомился в коллеже Людовика Великого. Родившийся в Шалон-на-Маране в 1822 году, Дозон посвятил себя праву, но тоже не чурался поэзии.

Нормандец Ле Вавассёр, пикардиец Эрнест Прарон, уроженец Шампани Огюст Дозон, парижанин Шарль Бодлер: этот квартет, своего рода литературный и сентиментальный фаланстер, ощущает в себе готовность переделать, перестроить французскую поэзию.

Двадцать четвертого февраля 1840 года Бодлер осмеливается попросить о личной встрече с Виктором Гюго. В адресованном ему письме он пишет, что опасается совершить «беспримерное нахальство», но поясняет в свое оправдание, что находится «в полном неведении относительно приличий этого мира» и что это должно было бы сделать его адресата «снисходительным» к нему.

«Я люблю Вас, — пишет он далее, — как любят героя, книгу, как любят чисто и бескорыстно любую прекрасную вещь. <...> Ведь Вы тоже были молоды и должны понять эту любовь к автору книги и то, как нам хочется поблагодарить его лично и почтительнейшим образом целовать его

руки».

В ожидании — «с крайним нетерпением» — ответа, которого не последовало, Бодлер сближается с более или менее определившимися литературными кругами и сходится с авторами постарше себя, как, например, Эдуар Урлиак, сотрудничавший с Бальзаком, или Анри де Латуш, один из приближенных к Жорж Санд. Еще с лионцем Петрюсом Борелем, который сам дал себе прозвище Оборотень. Не слишком богатое творчество Бореля населяет безудержная фантастика в духе английских готических романов Анны Радклиф и Хораса Уолпола, о чем свидетельствуют его сборник страшных и мрачных новелл «Шампавер» (1832) с подзаголовком «Безнравственные рассказы» и роман «Госпожа Пютифар» (1839).

Благодаря Петрюсу Борелю, ставшему демократом из ненависти к буржуа и по причине... оборотничества, Бодлер имел также возможность встречаться иногда с другим странным человеком, загадочным Жераром де Нервалем. В 1840 году Нервалю было тридцать два года, он уже перевел нескольких немецких авторов, таких как Клопшток, Бюргер, Шиллер и Гёте<sup>[12]</sup>. Не считая того, что несколько раз сотрудничал с Александром Дюма и был одним из авторов книги «Лео Бюркар, или Заговор студентов» и фантастико-аллегорической драмы «Алхимик», имевшей огромный успех.

Чаще всего Бодлер встречает Нерваля в кафе вроде «Диван Лепелетье»<sup>[13]</sup> неподалеку от «Оперы». Он находит его симпатичным и приветливым. Его удивляет легкость, с какой его старший товарищ пишет тексты, не перегружая их помарками и исправлениями.

## НА ЮЖНЫХ МОРЯХ

Чем больше Бодлер привыкает к своей богемной жизни, тем сложнее становятся его отношения с близкими. Каждый раз, когда он навещает отчима и мать, обстановка в доме накаляется, разговор едва клеится. Однако Жак Опик, прошедший не одно поле боя (в частности Ватерлоо) и привыкший к строгим гарнизонным порядкам, и не таких обуздывал. Он по-прежнему убежден, что рано или поздно Шарль образумится.

Напряжение достигает предела во время одного праздничного ужина, когда Шарль при всех позволяет себе дерзость и генерал тотчас ставит его на место. Шарль встает из-за стола и нагло заявляет, что задушит грубияна, который набросился на него при людях.

Опик не тот человек, чтобы оставить такое без ответа: он дает пощечину нахальному Бодлеру. Тот уже не владеет собой, кричит, становясь всеобщим посмешищем. В наказание его запирают в комнате. А когда ему разрешают выйти, он узнает, что должен как можно скорее отправиться в путешествие. И потому, что путешествия воспитывают молодежь, и потому, что у Опики нет ни малейшего желания терпеть скандалы из-за пасынка, поведение которого только вредит репутации семьи. Что касается Каролины Опик, то она с болью в душе соглашается с решением мужа...

Весной 1841 года Бодлер прибыл в Бордо, где, по рекомендации Опики, его принял капитан Сализ, отправлявшийся в Калькутту, в Индию на борту «Пакетбота Южных морей». Это было трехмачтовое судно с полуютом водоизмещением в четыреста пятьдесят тонн, бравшее очень мало пассажиров: офицеров колониальной армии, чиновников или коммерсантов.

В этом мире, новом для него мире, Бодлер выглядит принцем. Он выделяется своей элегантностью, изысканными манерами и своими речами тоже. Нередко он ведет напыщенные разговоры, произносит длинные тирады, которые удивляют и возмущают окружающих.

Тем не менее его причуды прельстили чернокожую красавицу, которая, сопроводив одну креольскую семью во Францию, возвращалась на родину. Их связь шокирует экипаж. И когда Бодлер не с ней, то лежит с обнаженным торсом под лучами тропического солнца в одной из лодок, подвешенной вдоль леера, и объясняет это тем, что у него болит желудок и что только таким образом он может облегчить свои страдания. Все это

сильно огорчает Сализа, призванного приучить его к суровой жизни моряков.

Словом, все, ну или почти все, видят в Бодлере привилегированного пассажира, если не сказать диковинного зверя. Однако, когда однажды страшная буря грозила гибелью парусному судну, он доказал, что способен сохранять присутствие духа и приспосабливаться к худшим природным условиям.

Первого сентября 1841 года после восьмидесяти трех дней плавания «Пакетбот Южных морей» бросил якорь на рейде Порт-Луи, столицы острова Маврикий.

Амбра, мускус, бензой, ладан, гавана, мирра... Эти запахи, которые внезапно открывает для себя Бодлер, опьяняют его чувства — запахи «свежие, как тело ребенка, нежные, как звуки гобоя, зеленые, как луга весной», и другие, затхлые, пыльные, и еще более сильный «проникающий во все поры аромат, подчас в самом стекле не знающий преград»<sup>[14]</sup>.

Однако он не поддается их очарованию, скорее просто отмечает их, не отдавая себе отчета, он впитывает запахи, не слишком задаваясь вопросом, надолго ли сохранится впечатление от них. Впрочем, сладость острова не вполне отвечала его ожиданиям, и он быстро пресытился этим.

О том, что он был необычным путешественником, свидетельствует тот факт, что в Порт-Луи его приняло семейство французских плантаторов — Гюстав и Эммелина Отар де Брагар — в своем поместье в квартале Грейпфрутов, там, где Бернарден де Сен-Пьер расположил в 1788 году действие романа «Поль и Виргиния». Бодлер не скрывает от них, что полностью погружен в поэзию, что не перестает писать стихи и мечтает о судьбе Виктора Гюго. Это побуждает Гюстава Отар де Брагара попросить его написать стихотворение для своей жены. И Бодлер охотно откликается на его просьбу, так как Эммелина была очень красива. 20 октября он посылает ей сонет, которому не дает названия<sup>[15]</sup> и первое четверостишие которого раскрывает его умонастроение на острове Маврикий:

Я с нею встретился в краю благоуханном,  
Где в красный балдахин сплелась деревьев сень,  
Где каплет с стройных пальм в глаза густая лень,  
Как в ней дышало все очарованьем странным<sup>[16]</sup>.

После трехнедельного пребывания в Порт-Луи Бодлер направился в Сен-Дени, порт острова Бурбон (прежнее название острова Реюньон). И

снова его покоряет женщина, но на этот раз речь идет об одной служанке, жительнице Малабара, одетой «в призрачный муслин». Ее обязанность — зажигать трубку своего хозяина и «ряд сосудов стройный благоухающей струею наполнять, москитов жадный рой от ложа отгонять»<sup>[17]</sup>, а также ходить за покупками на базар... Она тоже вдохновила его на стихотворение. Как и проститутка по имени Доротея — «коварное созданье», которое любит умащивать свою кожу благовонным маслом и бензоем и к которому он ходит в маленькую хижину неподалеку от моря.

Это отвлекает Бодлера от мыслей о Саре Косенькой. Если только он не думает постоянно о ней, не сравнивает ее без конца с этой Доротеей или жительницей Малабара.

Во всяком случае, 19 октября 1841 года «Пакетбот Южных морей» отплывает в Калькутту, но без Бодлера. А Бодлер горит желанием возвратиться в Париж, вновь увидеть мать, встретить своих друзей-поэтов, лесных нимф и женщин легкого поведения, сопровождающих его в поисках свободы и абсолюта. Но тем хуже, ведь это не совпадает с планами генерала Опики!

Четвертого ноября Бодлер поднимается на борт «Альсида». Он знает: если плавание пройдет без особых происшествий, то через три месяца он будет в Бордо.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

В конце февраля 1842 года Шарль Бодлер вернулся в Париж. Этому предшествовало письмо капитана Сализа, и близкие уже готовились принять его — встретить «блудного сына, вернувшегося в лоно семьи», как писал генералу Опику Клод Альфонс Бодлер, решивший непременно «сделать все возможное, чтобы наставить эту заблудшую душу» на праведный путь, не забывая, что «каждому в этом грешном мире отпущена своя мера горести, свое время испытаний» и что «семейные горести», подобно бурям, «не могут длиться вечно».

Намерения *старшего* брата, безусловно, были похвальны, однако он, похоже, забыл, что Шарль находился на пороге своего установленного законом совершеннолетия и, следовательно, имел право вступить во владение имуществом, оставленным его отцом после смерти в 1827 году.

Действительно, по истечении нескольких недель формальности в присутствии Нарсисса Дезире Ансея были выполнены, и на другой же день Шарль стал хозяином своего состояния. Это позволило ему оплатить часть долгов, снять квартиру на острове Сен-Луи, в доме 10 по набережной Бетюн, на первом этаже, купить мебель и картины, красивые книги в переплетках, дорогую одежду и не слишком заботиться о расходах. Это позволило ему также без тревог, по крайней мере на какое-то время, начать карьеру писателя.

Как раз в этом, 1842 году французская литературная среда бурлила. Некоторые из великих *стариков*, такие как Шатобриан, Ламенне Нодье, все еще были деятельны, и священные идолы романтизма не готовы были уступить место более молодым, какими бы пылкими, нетерпеливыми и одаренными они ни являлись. Бальзак преисполнен энергии и, кроме драмы «Надежды Кинолы», поставленной в «Одеоне», в свет одно за другим выходят его произведения: «Баламутка», «Воспоминания двух новобрачных», «Второй силуэт женщины», «Тридцатилетняя женщина», «Альбер Саварюс» и «Первые шаги в жизни»; Гюго публикует свое «Путешествие по Рейну», Санд — «Консуэло», Мюссе — «О лени», Сулье — «Маргариту» и «Элали Понтуа», Мериме — два сборника, в первый вошли «Театр Клары Гасуль», «Жакерия» и «Семья Карважалъ», во второй — «Хроника царствования Карла IX», «Двойная ошибка» и «Гузла»; Сент-Бёв — «Стихи Деборд-Вальмор», Готье — «Тысячу и вторую ночь», Гозлан — «Излучины», Сю — «Чертов холм», а по инициативе Давида д'Анже тем



временем появляется фантазматический и мрачный «Ночной Гаспар» Алоизиуса Бертрана, скончавшегося в минувшем году в возрасте тридцати четырех лет. Единственное темное пятно на картине — уход из жизни в марте Стендаля, хотя его имя было не из самых известных, а творчество никогда не привлекало толпы читателей...

Такое литературное бурление существовало в 1842 году и в других странах, в частности в Англии, где Альфред Теннисон опубликовал свои «Поэмы» в двух томах, Роберт Браунинг — «Король Виктор и король Карл», Эдвард Балвер Литтон — «Занони» и Томас Маколей — «Песни Древнего Рима». Или еще в России, где Николай Гоголь выдал три своих шедевра: «Женитьбу», «Шинель» и первую часть «Мертвых душ».

Это также эпоха, когда во Франции множатся «физиологии»<sup>[18]</sup>. Это были томики небольшого формата, написанные в приятном тоне, юмористическом или сатирическом, иллюстрированные гравюрами на дереве (некоторые принадлежали Домье и Гаварни), мода на них пошла с 1841 года, и сюжеты были самые разные: деревенский кюре, солдат национальной гвардии, привратница, охотник, вор, поэт, соблазнитель, продавщицы, провинциал в Париже, рогоносец, пьяница, грузчик... Существовали также томики о табаке, зонтике, шелковой и фетровой шляпах, гигиене бороды и усов, omnibusе, прессе, солнце, каламбуре, брачной ночи...

Выпускаемые поначалу издателями Обером и Лавинем, эти книжечки призваны были представить людям симпатичный портрет и тех и других. Их можно было узнать по бледно-желтой обложке, и по крайней мере пятнадцать из них принадлежали перу известных авторов. В этом наборе рядом с Фредериком Сулье («Физиология синего чулка»), Анри Монье («Физиология буржуа»), Луи Гюаром (среди прочих «Физиология гризетки»), Полем де Коком («Физиология женатого мужчины») или библиофилом Жакобом, он же Поль Лакруа («Физиология парижских улиц»), фигурирует Бальзак со своей «Физиологией чиновника», томом, иллюстрированным Тримолем.

Бодлер боготворил автора «Человеческой комедии». Он считал его одним из самых великих людей своего века, неистощимым и страстным фантазером, способным вдохнуть жизнь в каждого из своих персонажей, будь то хоть привратницы. Тем не менее, даже имея порой возможность встретить его, он не заводит с ним дружеских связей. По правде говоря, он чувствует себя более свободно с молодыми волками своего поколения.

В частности, с Феликсом Турнашоном, которого товарищи стали называть Турнадар после того, как у них вошло в забавную привычку все

слова заканчивать на *дар*. И речи не было о том, чтобы сказать, например: «У него нет ни су», а непременно: «Удар недаргодар нетдар нидар судар». Отсюда все и пошло — Феликс Турнашон стал Турнадаром, а дальше для удобства сокращенно просто Надаром...

У Надара много общего с Бодлером. Он уроженец Парижа, родился 6 апреля 1820 года, то есть годом раньше. Три года прожил в Лионе, там тоже учился. Он любил писать и рисовать, был честолюбив, дерзок, имел склонность к эксцентричности и проявлял интерес к женщинам.

А так как его привлекает еще и театр, он в очень молодом возрасте предлагает различным периодическим изданиям рецензии на пьесы, надеясь отличиться в журналистике и сделать ее своей профессией. Поступив в восемнадцать лет в «Ревю э Газетт де театр», он получает задание освещать спектакли трех залов левобережья, театров Люксембург, Пантеон и Сен-Марсель. Поначалу свои статьи он подписывает собственным именем, затем, когда его прозвище становится более известным, попросту Надар.

В конце 1838 года он не скрывает восторга, обнаружив в театре Порт-Сент-Антуан актрису-мулатку лет тридцати, Жанну Дюваль, в маленькой роли в «Системе моего дяди», одноактной пьеске Пьера Шарля Огюста Лефранка, одного из коллег Эжена Лабиша. И он поспешил завоевать ее, потом вскоре стал появляться вместе с ней и знакомить ее со своими друзьями.

Они чуть ли не все — начинающие авторы и считают себя прямыми наследниками романтического поколения, смутно пытаясь отыскать новые художественные пути, страдая от своего рода тягостного бездействия, которое нередко следует за периодами войн и революций. Свой рабочий кабинет они располагают предпочтительно в кафе, где собираются в девять часов утра, а расходятся лишь после полуночи. Одни читают, другие играют; кое-кто пробует писать, отчасти наудачу, или, не задумываясь, устраивается по примеру художника Антуана Фошри за столиком со своим «граверным снаряжением» и, по словам Шанфлери, предается таким образом на публике «повседневной работе».

Надар, с широким челом и рыжей гривой, является в какой-то мере главарем всей группы. В нее входят Шанфлери (его настоящее имя Жюль Франсуа Феликс Юссон), Пьер Дюпон, Эмиль Деруа, Эжен Лабиш, Анри Мюрже, Альберик Сегон, Леон Ноэль, Эжен Манюэль, Жюль де Ла Мадлен, Луи Ульбаш, а также Шарль Барбара — все писатели или художники, родившиеся в начале 1820-х годов (за исключением словоохотливого Эжена Лабиша, плодовитого Альберика Сегона и

неспокойного Шарля Барбара).

Бодлер не замедлил присоединиться к ним. И тотчас его внимание привлекла Жанна Дюваль с ее чувственным взором, небольшой грудью, широкими бедрами, темной шелковистой кожей и, главное, с кошачьими повадками, гибкими движениями «танцующей змеи». Но вначале, когда он смотрел на нее, она немного подавляла его, и хотя мысль о ней не давала ему покоя, он все-таки не осмеливался любить ее и сразу поддаваться ее глубинным эротическим импульсам.

Присутствует в кружке Надара и Теодор де Банвиль. Родился он в Мулене в 1823 году, а уже в семь лет стал парижанином и с этого момента страстно полюбил все, что происходило на улицах столицы, увлекся народными представлениями, странствующими театрами, ярмарочными выступлениями клоунов, музыкантов, певцов и мимов. В литературном отношении он самый юный из всех, так как первый сборник его стихов «Кариатиды» появился в том самом богатом на дитературу 1842 году и сразу снискал успех.

Бодлер «с удивлением», как он писал, погружался в книгу, восхищаясь тем, как такой молодой автор сумел собрать в ней «столько богатств». И радовался, что не только его литературное окружение, но и «люди, призванные формировать мнение других», приветствуют в лице Банвиля рождение подлинного поэта.

## СТИШКИ В КРУГУ ДРУЗЕЙ

В кружке Надара далеко не все нравятся Бодлеру. Он не сблизился с Луи Ульбашем и Эженом Лабишем, зато прекрасно ладит с Пьером Дюпоном (даже если считает, что не все его поэтические произведения отличаются «превосходным и безупречным вкусом») и Шарлем Барбара (который старше его на четыре года), одним из ярких почитателей сказок Гофмана и фантастических произведений Петрюса Бореля и Теофиля Готье.

Точно так же он великолепно ладит с Эмилем Деруа, которого считает замечательным художником, и часто посещает его мастерскую по соседству со своей квартирой на острове Сен-Луи. Довольно близким себе он чувствует Шанфлэри, хотя бы по причине их общих художественных пристрастий и интереса к карикатуре: по их мнению — мнению эстетов — высшим критерием был Домье.

Однако Бодлер не забывает и своих товарищей по пансиону Байи. Он принимает их в квартире на набережной Бетюн, затем, после краткого пребывания на улице Вано, в прекрасной гостинице «Пимодан» на набережной Анжу, то есть опять же на острове Сен-Луи, только на этот раз напротив правого берега Сены. Здание строгого вида было построено в 1650 году и через несколько лет роскошно оборудовано герцогом де Лозеном. С 1779 года оно принадлежит семейству Пимодан, некоторым членам которого, как утверждают, удалось ускользнуть от революционной полиции, использовав тайную подводную дверь, соединявшую подzemелья с рекой...

Бодлер жил там под самой крышей в довольно тесном помещении, состоявшем из нескольких маленьких комнат, окна которых выходили на Сену — все комнаты были одинаково отделаны глазированной бумагой с огромными черно-красными разводами, хорошо сочетавшимися с драпри из тяжелого старинного дамаста; комнаты он украшал и меблировал по собственному вкусу, с чувственной утонченностью. Ему это тем более легко было сделать, что на первом этаже этого здания некий Арондель, то ли антиквар, то ли старьевщик, покупал и продавал предметы искусства, иногда какую-нибудь дрянь, но чаще всего достойные вещицы, ценную мебель и настоящие картины.

Поначалу Бодлер, у которого наслаждение всегда сочеталось с роскошью, приобретал все, что заблагорассудится, и все, что ему

нравилось. Будь то замечательная серия литографий «Гамлета» Делакруа или старинные издания французских и латинских поэтов в роскошных переплетах, выполненных самыми великими мастерами, которые он ставил не на книжную полку, а складывал в глубокий шкаф. Его расточительность достигла таких размеров, что мать, сводный брат и генерал Опик начинают беспокоиться и всерьез рассматривают возможность назначения опекунского совета, призванного управлять его состоянием.

Такая жизнь богатого вельможи ничуть не отвлекает его от писания. Напротив, отныне Бодлер становится все более требовательным, он пытается сочинять стихи, передающие реальные ощущения и опыты, которые уже не являются блестящими стилевыми упражнениями или имитациями, более или менее удачными. Кроме того, он продолжает писать вместе с друзьями пьески на случай и анонимно работает над созданием коллективного сборника. Книга, без малейшей претензии названная «Стихи», была опубликована в 1843 году у братьев Эрманн за авторский счет. На ней стояли имена Гюстава Ле Вавассёра, Эрнеста Прарона и Огюста Аргонна, этот псевдоним выбрал себе Огюст Дозон.

Все с тем же Прароном Бодлер участвует также в работе над драмой в стихах «Идеолус». Вместе они часто правят свой текст. Оба знают, что театр может стать преддверием славы, что успех на сцене дает множество материальных преимуществ. Они думают не столько о Викторе Гюго или Александре Дюма, сколько о Франсуа Понсаре, который торжествует в «Комеди Франсез» со своей трагедией «Лукреция», или о Эжене Лабише. Тот дебютировал в 1837 году, когда ему едва исполнилось двадцать два года, и сразу получил одобрение публики. Но в конце концов они отказались от своего проекта.

Постоянно стремясь расширить круг своих знакомств, Бодлер сближается также с эзотерико-политической средой Альфонса Луи Констана. Тот на пять лет старше его. После того как он был посвящен в сан священника, им завладели идеи солидарности и прогресса, гибридная идеология, соединившая в себе христианство, социализм и фурьеризм и проповедовавшая культ женщины, — идеология, которая сначала снискала ему дружбу с Флорой Тристан, а затем осуждение католических властей и отлучение от Церкви.

Констан — человек образованный, обладающий самыми разными талантами<sup>[19]</sup>. В зависимости от ситуаций он может быть очень глубоким или очень поверхностным, произнести блистательную речь, потом вдруг высказать невероятный вздор, наговорить глупостей и пошлостей. В своих изысканиях и размышлениях он не пренебрегает ни магией, ни теософией,

ни гипнозом, ни кабалистикой, ни пророчеством. Он сблизился с издателем Огюстом Легаллуа, который обычно печатал не слишком ортодоксальные сочинения, и выпустил у него в 1841 году три тома: «Религиозные и социальные доктрины», «Допущение женщины, или Книга любви» и «Библия свободы». Из-за этой последней книги его преследовали по суду и приговорили к восьми месяцам тюрьмы. И наконец, он — превосходный художник.

Подобная личность не могла не привлечь Бодлера, всегда жаждавшего новых впечатлений, опытов, выходящих за рамки обычного. Тем более что благодаря Констану у него появилась возможность еще больше расширить круг своих отношений и познакомиться с другими писателями. Среди них Жорж Матьё, именуемый Жоржем Дэрнвалем, антилец Александр Прива д'Англемон и еще Альфонс Эскирос. Это автор появившегося в 1838 году «Чародея», одного из лучших франкоязычных готических романов, он постоянно отдавал журналу «Артист» некоторые из своих фантастических новелл вроде «Заколдованного замка» или «Ибн Сина».

Констан, Дэрнваль, Прива д'Англемон, Эскирос, Бодлер и другие... все они участвуют в работе над «Галантными тайнами парижских театров», коллективным трудом, весьма разнородным, опубликованным в марте 1844 года. Обложка и титульный лист были созданы Надаром, на них представал рогатый людоед с широко раскрытой пастью. А что касается «тайн», то это скорее были сплетни и колкости в адрес актрис и успешных авторов вроде Франсуа Понсара, чья «Лукреция» потеснила «Бургграфов» Виктора Гюго. Не без некоторой доли самоиронии, Констан, безусловно, озабоченный собственной рекламой, позволяет своим коллегам посмеиваться над собой.

## «ТАНЦУЮЩАЯ ЗМЕЯ»

Бодлеру мало-помалу удастся преодолеть сексуальную робость перед Жанной Дюваль и свой страх вступить с ней в любовную связь, и когда в конце концов это случается, с этой женщиной он открывает для себя плотские наслаждения, каких никогда еще не испытывал. По правде говоря, эти наслаждения «острее стали и стекла», ибо «печальная красота» Жанны, ее «природное величие», «строгий и чистый взор», «как благовонный шлем, убор кудрей», ее зрачки кажутся ему холодными.

Но вместе с тем или, быть может, как раз по причине этой холодности, своими чуть ли не ледяными и горделивыми манерами Жанна доставляет Бодлеру небывалое, ошеломляющее наслаждение. Ей давным-давно известно, что в любви она искусница и у нее достаточно опыта, чтобы ответить на все желания, на любой из фантазмов, на самую низкую из причуд этого восторженного человека, попавшего под ее иго. Чтобы, кроме того, спровоцировать их. Чтобы, когда нужно, прикинуться, будто она разделяет с ним те же эротические чаяния, те же низости, тот же экстаз в сладострастии. Она инстинктивно чувствует, что его возбуждает, что его воспаляет. Ей известно, что она отличается от других женщин, которых он знал и которые все в общем-то лишь послушные и милые случайные партнерши. В том числе и профессионалки из домов терпимости, и подобранные на улице несчастные проститутки. Ей известно, что она, по сравнению со всеми этими девицами, порочна. Что, по словам Теодора де Банвиля, она стала «единственной его забавой».

А так как она тоже желает быть покорной, при надобности покорной до безропотности, Жанна соглашается не изображать больше из себя актрисулю. При условии, однако, что взамен Бодлер будет в состоянии взять ее на содержание и помогать ей.

Да, он готов это сделать, но не хочет тем не менее рисковать своей независимостью или отказываться от своих литературных амбиций. Ему трудно себе представить, чтобы какая-нибудь женщина все двадцать четыре часа в сутки находилась с ним рядом, под его крылом, в одной с ним квартире, среди его бумаг и книг. Более того, одна лишь мысль о женитьбе вызывает у него презрительный смех.

Жанна, со своей стороны, тоже не горит желанием начать жить вместе с таким оригиналом, как он, с человеком, который большую часть времени занимается тем, что марает бумагу, ведет нелепые разговоры, посещает

богачей и поэтов, чью писанину она не понимает, их интересы ей совершенно чужды.

Бодлер находит решение — поселяет Жанну в соседнем доме, совсем рядом с ним, чтобы иметь возможность без затруднений ходить к ней ночью. Таким образом он сможет по-прежнему жить в гостинице «Пимодан», как ему заблагорассудится.

Отыскав маленькую квартирку на улице Фаммсан-Тет, он устраивает там Жанну. Покупает ей посуду, мебель, безделушки, обивку... Воспользовавшись этим обустройством, он оставляет себе самые ценные предметы, которые приобретает, разумеется, у Аронделя. А тот, прослышав, как все, что Бодлер обладает небольшим состоянием, не стесняется предлагать ему все более редкий и, следовательно, более дорогой антиквариат, а также картины мастеров: Тинторетто, Корреджо, Пуссена... Само собой, копии.

Устоять невозможно. И в конце концов Бодлер вынужден влезть в долги. Он занимает деньги у Аронделя, вслепую подписывает векселя, не зная толком, что делает и куда это может его завести.

Для госпожи Опик это уже слишком. В июле 1844 года она вполне официально начинает судебную процедуру, с тем чтобы учредить опекунский совет. В ее хлопотах ей оказывали поддержку Клод Альфонс и нотариус Ансель, более чем когда-либо стремившийся защитить репутацию и память покойного Жозефа Франсуа Бодлера. Собравшийся семейный совет пришел к выводу, что Шарль, «став по достижении совершеннолетия хозяином своего состояния, предался самому безрассудному расточительству», что «на протяжении примерно восемнадцати месяцев он растратил около половины своего состояния» и что «самые последние события дают основания опасаться, как бы остаток имущества не был поглощен в случае малейшего промедления с назначением ему, как расточителю, опекунского совета».

Двадцать первого сентября 1844 года главой опекунского совета был назначен Ансель. Униженный Бодлер имел право подать апелляционную жалобу, однако, не желая вступать в конфликт с матерью, он от этого воздержался.

Утешением, лекарством от того, что он почитал бесчестьем, служит Жанна. Жанна, его «странный идол», «дочь черной полуночи с бедром эбеновым», его «демон яростный», его «развратница Мегера». Это «ад его ложа».

Прибежищем для Бодлера, его опорой и спасением становятся стихи, пылкие стихи, которые он пишет и без конца поправляет, отделяет, —



стихи очень интимные, которые говорят об усладе чувств и ненависти, о любовном головокружении и отвращении любить. О горечи любить. И быть во власти вампира. О невозможности любить без печали.

В мою больную грудь она  
Вошла, как острый нож, блистая,  
Пуста, прекрасна и сильна,  
Как демонов безумных стая.

Она в альков послушный свой  
Мой бедный разум превратила;  
Меня, как цепью роковой,  
Сковала с ней слепая сила.

И как к игре игрок упорный,  
Иль горький пьяница к вину,  
Как черви к падали тлетворной,  
Я к ней, навек проклятой, льну.

Я стал молить: «Лишь ты мне можешь  
Вернуть свободу, острый меч;  
Ты, вероломный яд, поможешь  
Мое бессилие пресечь!»

Но оба дружно: «Будь покоен!»  
С презреньем отвечали мне —  
«Ты сам свободы недостоин,  
Ты раб по собственной вине!

Когда от страшного кумира  
Мы разум твой освободим,  
Ты жизнь в холодный труп вампира  
Вдохнешь лобзанием своим!»<sup>[20]</sup>

Ибо она, вне всякого сомнения, проклятый вампир, эта Мессалина с «большими черными глазами»... Несмотря на то, что ее содержал Бодлер, она продолжала встречаться с другими мужчинами и продавать им свои чары. Она без малейшего смущения готова была следовать за первым

встречным. И даже принимать случайных клиентов на улице Фаммсан-Тет.

Однажды вечером Бодлер застал Жанну с ее парикмахером. Он в ярости, но слишком привязан к ней, слишком сексуально прикован к тому, что она дает ему, чтобы сердиться на нее больше двух-трех дней!

## КРУГОМ ИДЕТ ГОЛОВА

Обитатели великолепной гостиницы «Пимодан» на набережной Анжу в большинстве своем были представителями богемы и дилетантами. В частности, Роже де Бовуар, чей на редкость драматичный роман «Школяр из Ключони», опубликованный в 1832 году, подсказал, видимо, Александру Дюма идею «Нельской башни», не говоря уже о его бесчисленных работах для газет и журналов (хроника, рассказы, путевые впечатления), от «Ревю де Пари» до «Карикатюр», включая «Глоб», «Мод» и «Фигаро». Еще художник Жозеф Фернан Буассар, именуемый Буаденье, ученик Антуана Гро и Эжена Делакруа. Его художественное дарование вполне реально, а кроме того, он хороший скрипач, отличный собеседник и радушный хозяин, свои *фантазии*, свои шумные речи Буассар любил произносить у себя дома, прежде чем предложить гостям гашиш — это «зеленое варенье, необычайно пахучее, до того пахучее, что оно вызывает некоторое отвращение, как, впрочем, вызвал бы его любой тонкий запах, доведенный до максимума своей силы и, так сказать, насыщенности»<sup>[21]</sup>.

Гашиш, свою долю которого оплачивал каждый из приглашенных, следовало разводить в черном очень горячем кофе, кофе по-турецки, и пить натошак, дабы избежать рвоты, ибо основательная еда плохо уживается с наркотиком. От этого после недолгой томной веселости «кругом идет голова». Вдруг обнаруживаются превращения и «престранные двусмысленности» и выясняется, что звуки имеют цвет, а у цвета есть музыка.

В занимаемые Буассаром прекрасные апартаменты и его роскошный музыкальный салон, украшенный зеркалами, разноцветными деревянными панелями и лионскими шелками, вход был далеко не всякий. Это клуб, членами которого были люди избранные, в большинстве своем художники или рисовальщики, как Делакруа, Домье (он проживал на набережной Анжу), Эрнест Месонье (у него была своя мастерская на набережной Бурбон), Поль Шенавар, Луи Стенель и Тони Жоанно; но также известные врачи и писатели, такие как Альфонс Карр, чьи памфлеты, публиковавшиеся с 1839 года под общим заглавием «Осы», очень нравились читателям, Анри Моннье, прославившийся своими скетчами и весьма реалистичным персонажем Жозефом Прюдомом, Жерар де Нерваль, которого часто сопровождал Теофиль Готье. По крайней мере когда этот последний бывал свободен в перерывах между двумя путешествиями,

двумя критическими статьями, двумя новеллами, двумя романами, двумя стихотворениями, двумя обедами или двумя женщинами.

Для Бодлера, завсегдатая Клуба курильщиков гашиша Буассара, встретить Теофиля Готье было мечтой, которую он лелеял с давних пор, по сути, с того самого времени, как его помыслами завладела поэзия. Он восхищался им не меньше, чем Виктором Гюго. Восхищался в его лице человеком, который в своей красной рубашке, с откинутой назад шевелюрой сумел в 1830 году повести за собой сторонников романтизма на битву за «Эрнани». Восхищался большинством его произведений. В особенности сборником рассказов «Молодая Франция» за его необычную насмешливость, а также романом «Мадемуазель де Мопен», предисловие к которому являлось поразительным манифестом, заявлявшим, что искусство и мораль, литература и добродетель абсолютно не имеют ничего общего. Не считая поэтических сборников «Альбертус» и «Комедия смерти», изобилующих неистовыми и мрачными образами.

Кроме того, в Теофиле Готье его привлекает несоблюдение установленных правил. Бодлера поражают его длинные мягкие волосы, его благородная, беспечная осанка, его полный вкрадчивой мечтательности взгляд, его смешанное со скептицизмом эпикурейство, его относительная холодность. То есть та своего рода дистанция, которую он устанавливал между своими эмоциями и мыслями, своими самыми глубокими чувствами и манерой говорить о них вполне объективно в своих многочисленных произведениях.

Безусловно, в поведении автора «Молодой Франции» присутствовала театральность, однако, по мнению Бодлера, совсем неплохо совмещать реальное и воображаемое. Ибо денди — это единичность, противостоящая множественности, тот, кто возвеличивает свое отличие, свое интеллектуальное богатство и не боится выставлять напоказ его внешние признаки, оставаясь вместе с тем невозмутимым перед лицом нападков, жертвой коих он становится в середине 1840-х годов, когда общество все более склонялось к идеалам унификации и прогресса.

Впрочем, только что появившееся небольшое сочинение укрепляет Бодлера в выборе такого искусства жить: «О дендизме и Дж. Броммеле<sup>[22]</sup>». На нем значилось имя Жюль Барбе д'Оревилли, которому было тогда лет тридцать шесть, а издано оно было в Кане всего-то в количестве двухсот пятидесяти экземпляров. Тем не менее этого было достаточно, чтобы затронуть искушенный круг эстетов и обеспечить автору репутацию писателя традиционалиста и эксцентрика.

И если Бодлер положительно оценил его тезисы, то в значительной

мере потому, что они вполне соответствовали его личным чаяниям, не проповедовали тотального бунта, ведь денди отличался пикантной особенностью насмехаться над установленным порядком и в то же время почитать его.

«Он страдает из-за него, — писал Барбе д'Оревилли, — и мстит за это, но претерпевает его; ускользая от него, он на него ссылается; он подчиняет его себе и сам ему подчиняется попеременно: двойственный и изменчивый характер! Чтобы вести такую игру, необходимо обладать гибкостью и изворотливостью, что и составляет всю прелесть, подобно оттенкам призмы, которые, объединяясь, образуют опал».

Бодлер так и поступает, подчеркнуто афиширует свое пристрастие к роскоши, самолично рисует одежду, какую желает носить. И заказывает ее у лучших парижских портных, хотя располагает теперь всего лишь скромной рентой, выплачиваемой ежемесячно Анселем, самым педантичным и неуступчивым нотариусом, какого только можно вообразить.

Его излюбленный туалет — это фрак, прямое пальто из грубой шерсти, белая рубашка тонкого полотна с отложным воротничком, красный галстук, кроваво-красный, цилиндр, розовые шелковые перчатки, трость с набалдашником из слоновой кости.

Разгуливает ли он в шикарных кварталах, блуждает ли по грязным, пользующимся дурной славой улицам квартала Марэ или посещает художественные салоны, он неизменно все тот же: всегда хорошо одет, всегда элегантен, всегда циничен. Он только, в зависимости от настроения, меняет прическу — то обросший волосами и с бородой, а то чисто выбрит и коротко подстрижен. «Можно подумать, Байрон, в одежде от Броммеля», — бросил ему как-то вечером его друг Ле Вавассёр в кафе «Табуре» на углу театра «Одеон».

Комплимент, насмешка или шутка — Бодлеру все равно. Именно в таком одеянии однажды январским утром 1844 года он вместе с Прива д'Англемоном является в редакцию «Артиста». Основанную в 1831 году, эту знаменитую газету, занимавшуюся вопросами литературы и искусства, с 1843 года возглавлял Арсен Уссе, близкий друг Теофиля Готье и Жерара де Нерваля. Уссе — само воплощение буржуазного литератора. Свой первый сборник стихов «De profundis»<sup>[23]</sup> он опубликовал в 1834 году, когда ему не было еще и девятнадцати лет. Он до того ловкий писатель, что совсем недавно сочинил роман «Древо познания», в духе сказочников XVIII столетия, заставив всех поверить, что речь идет о посмертном произведении Вольтера.

Уссе не лишен также чутья. Ему понравилось стихотворение «Креолке», которое Бодлер вручил ему, надеясь на его публикацию, это первый текст, который он пожелал подписать. Премьера состоялась в «Артисте» от 25 мая. Но за подписью для многих малопонятной: Бодлер-Дюфай.

Словно для того, чтобы еще больше отдалиться, отделиться от генерала Опики.

## СВЕТ И МРАК

Бодлер не довольствуется тем, что собирает у себя прекрасные картины, он вглядывается в них, анализирует, пытается всеми силами понять, почему один художник трогает его или волнует и почему другой оставляет равнодушным или раздражает.

В действительности живопись — это тот мир, где он лучше всего себя чувствует. Точно так же как рисунок и карикатура. Этот мир привычен ему, он для него естествен, ведь его отец писал гуашью и окружал себя художниками. Бодлер любит Бассано, Пуссена, Веласкеса, Эль Греко.

К тому же у него много знакомых среди художников. Взять хотя бы Эмиля Дерау, за несколько коротких ночных сеансов написавшего в гостинице «Пимодан» его портрет, а также портреты Прива д'Англемона и отца де Банвиля.

Благодаря курильщику гашиша Жозефу Фернану Буассару Бодлер знакомится с художником, которого ставит выше всех в своем персональном пантеоне, с живым богом романтического искусства: Эженом Делакруа. Он бесспорно считает его «оригинальнейшим из всех живописцев, как прежних, так и нынешних», который не лжет, не обманывает своих почитателей, подобно другим «неблагодарным идолам». Культ великих людей — Гюго, Бальзака, Сент-Бёва, Готье... и вот теперь Делакруа — это отчасти тонкая стратегия Бодлера, ему всего двадцать четыре года, и он пытается обеспечить себе известность последовательными этапами, еще не опубликовав ни одной книги.

Возможность поправить это он находит как раз в мире художников во время Салона 1845 года. Он решил написать подробный очерк о Салоне и собрать свои заметки в брошюре, которую вскоре издал под именем Бодлер-Дюфай у Жюля Лабитта, подобно сонету «Креолка» в «Артисте» и тоже в мае 1845 года. В своем вступлении Бодлер уточнил, каким образом он собирается осуществить свой проект:

«Наш метод анализа будет состоять в том, чтобы рассматривать произведения по разделам: историческая живопись и портреты, жанровые полотна и пейзаж, скульптура, гравюры и рисунок; мы будем говорить о художниках сообразно месту и значению, которые приобрели они во мнении публики».

Определив таким образом свою позицию, Бодлер, разумеется, начинает свой обзор с Делакруа, приславшего на Салон в 1845 году четыре

картины: «Магдалина в пустыне», творение большого «мастера в области гармонии», «Последние слова Марка Аврелия», «совершеннейший образец того, на что способен гений в живописи», «Сивилла с пальмовой ветвью», «прекрасного и самобытного колорита» и, наконец, полотно «Марокканский султан в окружении телохранителей и военачальников», прихотливая музыкальность которого представляет собой «сочетание новых, неведомых тонов, столь нежных и чарующих».

Далее следуют заметки более или менее длинные и оценки более или менее справедливые относительно художников, таких как Орас Берне, Вильям Оссулье, «картина которого самая значительная среди всего, что представлено на выставке», Робер Флэри, Ашиль Девериа, Виктор Робер, Теодор Шассерио, который может стать «выдающимся художником», Огюст Гессе, Жозеф Фэ, Леон Конье, Ипполит Фландрен, Эрнест Месонье, Филипп Руссо, Анрикель Дюпон и Камиль Коро, помещенный «во главе современной школы пейзажа» и умеющий быть «подлинным колористом при ограниченной цветовой гамме».

Из таких заметок общим числом сто две становится ясно, что Бодлер по сути привязан к классической живописной эстетике, и в Делакруа он прославляет не столько живописца современности, сколько художника, который довел старую живопись до последнего великолепного накала. Что же касается самого Делакруа, то он никогда и не скрывал своих пристрастий к XVIII веку, в том числе в литературной и музыкальной областях, защищая Вольтера, Казанову, Чимарозу, Моцарта, Гайдна, отвергая Бетховена и более всего критикуя Гюго, Бальзака, Берлиоза и Верди, творцов, которые, с его точки зрения, не признают ясности и простоты и чересчур злоупотребляют излишеством и напыщенностью.

Благодаря книжке «Салон 1845 года» Бодлер завел дружбу еще с одним Шарлем. Ибо после Шарля Барбара появился Шарль Асселино. Они сразу же почувствовали симпатию друг к другу и обнаружили общие вкусы, в частности любовь к старинным книгам, к редким или непризнанным текстам, изысканным переплетам и даже пристрастие к некоторой вычурности и архаизму.

Парижанин по рождению и товарищ Надара по коллежу Бурбон, Асселино был на год старше Бодлера. Как и Бодлер, он высоко ценил творчество Теофиля Готье, но Готье автора «Гротесков» и Готье «фантазера», такое определение тот как раз и употребил в очерке, посвященном Гофману, Готье «Влюбленной смерти», этой великолепной новеллы, которую сначала он опубликовал в «Кроник де Пари» в 1836 году и которая потом вошла в сборник.



В «Журналь де Театр» Асселино доброжелательно отозвался о брошюре «Салон 1845 года», но не более того. Впрочем, ни в газетах, ни в журналах никто не спешил говорить о первой книге Бодлера, и это его сильно огорчало.

Еще более усугубляло его досаду и ощущение неудачи то обстоятельство, что у него возобновились сильные головные боли и колики в желудке. К тому же он непрестанно страдал из-за назначенного ему опекунского совета.

И вот однажды вечером в кабаре на улице Ришелье, куда Бодлер привел Жанну, он нанес себе удар ножом в грудь. Не преминув предварительно отправить письмо Анселю, в котором перечислял причины, заставившие его посягнуть на свою жизнь. «Я убиваю себя, не испытывая сожаления», — писал он ему.

Бодлер говорил, что долги, которые он наделал, никогда не причиняли ему *горя* и что он убивает себя, потому что жизнь стала ему в тягость. Потому что он не сможет больше жить. Потому что он считает себя «бессмертным». И добавлял, что завещает Жанне Дюваль все, что имеет, ибо она была единственным человеком, подле которого он находил «определенный покой». Ибо, продолжал Бодлер, брат никогда не жил *во мне и вместе со мной*. И мать тоже не нуждается в его деньгах, так как у нее есть *муж*, она владеет *человеческим существом, любовью, дружбой* — все эти слова он подчеркивает. И в заключение пишет:

«Теперь Вы видите, что это завещание — не фанфаронство и не выпад против общественных идей и семьи, а просто выражение всего, что сохранилось во мне человеческого — любви и искреннего желания принести пользу той, кто была иногда моей радостью и моим отдохновением».

А что касается рукописей, то он оставлял их Банвилю.

Однако это была всего лишь мизансцена, комедия самоубийства, и рана его оказалась совсем несерьезной.

На помощь Бодлеру пришли близкие. В конце сентября 1845 года он покидает гостиницу «Пимодан» и решает пожить несколько недель у своей матери и генерала Опики, обустроившихся в апартаментах на Вандомской площади с тех пор, как в ноябре 1842 года генерал был назначен комендантом департамента Сены и Парижа.

И опять, в который уже раз, Бодлер понимает, что между их и его существованием определено нет ничего общего.

Тому, кто его спрашивал, почему он снова ушел из семьи, Бодлер отвечал, что в доме его матери пьют только бордо, а он не может обойтись без бургундского...

## ЛЮБОВЬ ВСЕГДА

После поспешного бегства с Вандомской площади Бодлер переезжает с места на место, из одной гостиницы в другую. Улица Корнель, улица Лаффит, улица Прованс, улица Кокенар, улица Турнон, неподалеку от сената и, значит, в *старом* квартале его детства...

Это были трудные месяцы, месяцы сомнения и нерешительности.

Правильно ли он поступил, решив стать *автором*? — спрашивает себя Бодлер. И, как бы испытывая потребность бросить вызов самому себе, он записывается в Национальную школу хартий на библиотечное отделение. В этом его горячо поддерживает Асселино, которого такого рода учеба весьма интересует, но в самый последний момент Бодлер не является на экзамен учеников первого года обучения.

Тотчас вернувшись к своим «авторским работам», он начинает разбирать многочисленные стихи, которые написал после возвращения из своего африканского плавания, располагая их в строжайшем порядке ввиду намерения собрать их в один том, который собирается назвать «Лесбиянки».

Он говорит об этом Жюлю Лабитту, опубликовавшему «Салон 1845 года» и соглашавшемуся еще раз издать Бодлера. Однако Бодлера одолевают сомнения. Он предпочитает доверить некоторые из своих стихов, сонеты, Прива д'Англемону и разрешает ему подписать их своим красивым именем. И Прива д'Англемон спешит передать Арсену Уссе и в редакцию «Артиста» четыре из них, словно речь идет о его собственных стихах: «Госпоже дю Барри», «Ивонне Пен-Мур», «Апрель» и «Прекрасной богомолке».

Часто меняя место жительства, Бодлер тем не менее не раз вновь появляется в гостинице «Пимодан». Прежде всего потому, что его мебель, картины и книги в прекрасных переплетах находились пока еще там и потому, что он не порвал окончательно отношений с Буассаром и Клубом любителей гашиша.

Заехав однажды, чтобы взять какую-то книгу, Бодлер был очень удивлен, увидев, что его апартаменты заняла некая молодая женщина.

Она была ему знакома. Он видел ее в 1844 году в зале танцевальной труппы «Мабиль», куда пришел вместе с Надаром, Прива д'Англемоном и Шанфлэри. Звали ее Элиза Сержан, а прозвище у нее было «королева Помарэ», намек на таитянку, известную своим легким поведением, которая

чуть не вызвала конфликт между Францией и Англией. Она была довольно красивой, стройной, без худобы, «с плоской, — по словам де Банвиля, — как у мужчины, грудью». Хорошо танцевала, была кокетлива и в какой-то мере образованна.

В бывших апартаментах Бодлера она расположилась как у себя дома. Словно сама выбирала мебель, убранство и даже редкие книги его библиотеки. Она не стеснялась брать из шкафа в гостиной бутылки вина и опустошать их, когда ей вздумается. В одиночестве или со своими многочисленными случайными посетителями...

Бодлер поддается ее очарованию и спит с ней в кровати, где никогда не лежала Жанна, его признанная любовница, «загадка немая», «ангел с медным лбом», к которой, что бы ни случилось, он все равно вернется. Это добавляло еще большей пикантности этой связи, которая, однако, истощится и разрушится всего через несколько дней. Тем не менее она вдохновляет его на песню «Сколько продлится наша любовь», текст которой он снова отдает Прива д'Англемону, предоставив ему свободу опубликовать его под своим именем.

Но не только «королева Помарэ» удостоилась его мимолетной любви, были еще безымянные, с улицы, и он, такой элегантный, такой изысканный, ценитель ароматов и красивого белья, нисколько не страдает из-за его сомнительной чистоты или рваных чулок, из-за немытой кожи, зловония подозрительных отелей и лачуг, его не оскорбляет грязь гнусных кабаре, которые всегда называют притонами, где прозябают уличные певички. «Нежная воительница» Сизина, Агата, Александрина, Маргарита... Жанна не возражает. Главное, что ее содержат. И в любом случае она знает, что имеет над ним колдовскую власть.

Бодлер непременно желает стать членом Общества литераторов и поэтому стремится снабжать газеты очерками. Одна из них, «Корсэр-Сатан», ему нравится. Это сатирическое издание, появившееся в результате слияния двух газет Больших бульваров — «Корсэр» и «Сатан», собиравших закулисные, дворцовые и уличные толки и рассказывавших, не скупясь на остроты, о событиях в мире искусства и литературы. Руководил им разносторонний автор, бывший газетный писака по имени Пуатвен, друг и коллега Бальзака, величавший себя более лестным и звучным именем Ле Пуатвен де Сент-Альм. Отличаясь плюрализмом, газета принимала тексты авторов всех направлений и, в частности, некоторых писателей, связанных с Бодлером, вроде Шанфлери, всегда очень деятельного и занимавшего все более заметное место на авансцене парижской жизни, де Банвиля и еще

Мюрже, ответственного за пользовавшуюся успехом рубрику под названием «Сцены богемной жизни» в духе «физиологии». Всех этих молодых авторов Пуатвен де Сент-Альм фамильярно называл «своими балбесами».

В течение последнего триместра 1845 года Бодлер анонимно отдал в «Корсэр-Сатан» несколько текстов, в том числе очерк «Как платят долги, имея гениальную голову», начинавшийся такой шутливой фразой: «Мне поведали одну забавную историю, попросив никому о ней не говорить; вот потому-то я и хочу рассказать ее всем». В своем очерке он высмеивает двух своих идолов. Первый — это Бальзак, «самый значительный коммерческий и литературный ум XIX столетия», человек «фантастических и гиперболических начинаний», «великий творец сновидений, вечно поглощенный *поисками абсолюта*». Второй — Готье, «грузный, ленивый и флегматичный», лишенный идей, только и знающий, что оттачивать и нанизывать слова, словно жемчуг в ожерельях индейских племен сиу, хотя это было совсем несправедливо: лень и флегматизм отнюдь не характерны для автора «Мадемуазель де Мопен», вынужденного непрерывно писать, чтобы расплатиться с долгами.

В этом очерке Бодлер предстает язвительным, насмешливым и чуточку злым, что наводило на мысль о том, что в будущем он сможет блистать в определенного рода юмористической журналистике. И подтверждение тому появилось в марте 1846 года, когда в «Корсэр-Сатан» он опубликовал очерк под названием «Собрание утешительных максим о любви».

Этот очерк был длиннее, чем «Как платят долги, имея гениальную голову», и включал несколько забавных парадоксов о состоянии влюбленности. Парадоксов, по правде говоря, литературных, ибо упоминались «Манон Леско» аббата Прево, «О любви» Стендаля, «Мертвый осел» — неистовый роман Жюль Жанена, появившийся в 1829 году, а также извечный персонаж — Дон Жуан, описанный последовательно Мольером, Альфредом де Мюссе и Теофилом Готье, Дон Жуан, объявленный «*артистичным бродягой, алчущим совершенства в сомнительных местах*», дабы стать потом «старым денди, измотанным своими странствиями, и самым глупым из людей подле порядочной женщины, влюбленной в собственного мужа».

## НОВЫЙ САЛОН

В апреле 1846 года Бодлеру исполнилось двадцать пять лет, и он мог гордиться, если не тем, что уже много всего пережил для своего юного возраста, то по крайней мере тем, что так или иначе был знаком с большинством из великих писателей и художников своей эпохи.

Открытие в Лувре Салона внушает ему желание написать новую книжку о выставленных произведениях, хотя предыдущая не получила почти никакого отклика. Он понимает, что может говорить об этом со знанием дела, с использованием достойных критериев, основанных на обстоятельном знании истории искусства, приобретенном благодаря разностороннему чтению и многократным посещениям музеев, выставочных галерей и антикварных лавок — за неимением возможности побывать, как многие другие, в Италии, Испании, Нидерландах, Германии или в Англии и созерцать творения старых мастеров. А главное, благодаря своему огромному интуитивному дару.

Он идет в Салон, смотрит картины, долго и терпеливо разглядывает их, затем располагается за столиком у торговца вином, заказывает бургундское и, раскуривая глиняную трубку, записывает свои впечатления. Не торопясь. Стараясь включить их в более общие рассуждения об искусстве, согласно эстетике формы и цвета.

В этом отношении брошюра «Салон 1846 года» уже не выглядела простым каталогом, каким в общем-то был «Салон 1845 года», это действительно был очерк, насыщенный конкретными примерами. Вслед за странным обращением к буржуа, которые «основали частные коллекции, музеи, выставочные галереи», и рассуждениями о роли критики, романтизме и в особенности о колорите и его гармонии Бодлер снова начинает свою работу с Делакруа. И уже во втором параграфе напоминает о статье Тьера<sup>[24]</sup> от 1822 года, в которой шла речь о картине, изображавшей Данте и Вергилия в аду, — еще одно доказательство того, что для него, по словам Эмиля Бернара<sup>[25]</sup>, «выдающиеся люди не имели возраста», ибо Тьеру было тогда двадцать лет, а Делакруа — на два года меньше.

На этом Салоне Делакруа выставил четыре свои работы — «Похищение Ребекки» (по мотивам «Айвенго»), «Прощание Ромео и Джульетты», «Маргарита в церкви» и акварель «Лев», и Бодлер отмечал, что это «популярные» произведения, что не зрители враждебно были настроены против «универсального» гения живописца, а клика самих

художников. Признаваясь затем, что он был поражен «той своеобразной и неизменной меланхолией», исходившей от этих четырех необычных картин и проявившейся «и в выборе сюжетов, и в выразительности фигур, и в движениях, и в колорите».

Его заметки не ограничивались, однако, восхвалением Делакруа. На ста сорока страницах брошюры, опубликованной начинающим издателем Мишелем Леви (он того же возраста, что и Бодлер), речь шла о множестве художников и рисовальщиков, как уже прославившихся, вроде Энгра и Ашиля Девериа, так и подвергшихся критике, вроде Виктора Робера или Ораса Берне, члена Института и руководителя Римской школы, человека, «наделенного двумя примечательными свойствами: у него нет ничего, что нужно художнику, и есть все, что ему не нужно: полное отсутствие темперамента и феноменальная память на аксессуары».

«Господин Орас Берне, — отмечал Бодлер в XI главе своего „Салона 1846 года“, — солдафон за мольбертом. Я ненавижу такое искусство, создаваемое под барабанный бой, холсты, намалеванные галопом, живопись, которая точно выстреливается из пистолета, как ненавижу вообще армию, военщину и все то, что сбряцанием оружия вторгается в мирную жизнь».

И добавлял затем без излишних ухищрений:

«Я ненавижу этого человека, потому что его картины не имеют касательства к живописи; это бесконечное и бойкое рукоблудие, которое раздражает эпидерму французской нации».

Когда он писал эти строки, он, естественно, думал об отчине, который продолжал восхождение по служебной лестнице, но не причинял ему никакого вреда и не мешал его *салонным* писаниям.

По сравнению с «Салоном 1845 года» «Салон 1846 года» содержал главы чистейшей критики, в частности о шике, шаблоне и пейзаже, а также в адрес скульптуры, которую он объявил скучной и воспринимаемой как «вспомогательный вид искусства», «искусство, замкнутое в себе». А заканчивал книжку восторженными страницами, похожими на манифест по поводу героизма в современной жизни. Ибо неврастеник, человек с тонкой чувствительностью, беспокойный, сумрачный, каковым являлся Бодлер, верил в красоту и ее торжество.

«Во всех видах красоты, — писал он, — как и в других жизненных явлениях, содержатся элементы вечного и преходящего, абсолютного и частного. Абсолютной и вечной красоты не существует, или, вернее, она всего лишь абстракция, сливки, снятые со всех видов прекрасного. Элемент частного во всякой красоте порождается страстями, а поскольку каждому

из нас свойственны страсти, то и у нас есть своя красота».

Ибо он верил в «современную красоту». Точно так же, как верил в магический реализм:

«Парижская жизнь богата поэтическими и чудесными сюжетами. Чудесное обступает нас со всех сторон, и мы вдыхаем его вместе с воздухом, хотя и не замечаем его».

После публикации «Салон 1846 года», как и «Салон 1845 года», не находит отклика в печати. Тем не менее эта брошюра привлекает внимание знатоков и придает Бодлеру — Бодлеру-Дю-фаи — определенный авторитет в художественных и литературных кругах, которые он посещал. По мнению писателя Анри Мюрже, книжка заслуживала того, чтобы ее поставили в один ряд с критическими произведениями Дидро, Гофмана, Стендаля и Гейне<sup>[26]</sup>.

Нельзя сказать, что Бодлер остался недоволен. Тем более что благодаря «Салону» он вступил в Общество литераторов, и теперь его хорошо принимали в газетах и журналах, причем не только в редакциях «Корсэр-Сатан» и «Артист», но и в «Эспри пюблик», «Эко де театр» и «Тентамар», где он подписывает несколько юмористических заметок вместе с Банвилем и одним из лучших друзей автора «Кариатид» Огюстом Витю, а иногда под общими псевдонимами, в числе прочих Франсис Ламбер, Марк-Орель или Жозеф д'Естьенн.

## НЕКИЙ САМЮЭЛЬ КРАМЕР

Едва «Салон 1846 года» поступил в продажу, как Бодлер узнал о внезапной кончине своего двадцатилетнего друга Эмиля Деруа, в мастерской которого он часто наблюдал, как работает изо дня в день художник.

Пытаясь заглушить свое горе, он находит прибежище в богемной жизни: вино и сильные наркотики, сплин и фривольные вечера, более или менее скандальные. Он охотно ходит в театр вместе с Банвилем или с Шанфлёр, двумя Шарлями (Асселино и Барбара), а иногда с Надаром, и как никогда увлекается женщинами, особенно актрисами, не важно — красивыми или нет. Когда в театре «Порт-Сен-Мартен» ему довелось присутствовать на танцевальном спектакле, где выступала ирландка Лола Монтес, выдававшая себя за испанку, он был крайне взволнован.

Вскоре у него появилось желание написать новеллу. Он вывел на сцену некоего Самюэля Крамера, молодого человека, «противоречивого отпрыска» бледнолицего немца и смуглой чилийки, большого бездельника, печального честолюбца, существо «болезненное и фантастическое, чья поэзия находит яркое отражение скорее в его персоне, нежели в его произведениях», являющее собой «божество бессилия», хотя за его подписью в виде напыщенного псевдонима уже печатались «некие романтические бредни». Одна из его главных причуд — считать себя равным тем, кем он восхищался, причем до такой степени, что после захватывающего чтения какой-нибудь прекрасной книги Кардана, Стерна, Кребийона-сына или Вальтера Скотта полагал, что вполне и сам мог бы написать нечто подобное. «Он был одновременно всеми художниками, которых изучал, и всеми книгами, которые читал, несмотря на такую артистическую способность, оставался глубоко самобытным».

В своем герое Бодлер в значительной мере воплощал себя самого. Он приписывал ему сентиментальное приключение, связанное со светской женщиной, госпожой де Космели, проживавшей «на одной из самых аристократических улиц предместья Сен-Жермен», чей ветреный муж влюбился в «очень модную театральную девицу», «танцовщицу, столь же глупую, сколь и прекрасную», по прозвищу Фанфарло (Хвастунья). Но вскоре Самюэль Крамер почувствовал влечение к сопернице своей возлюбленной. Она представляется ему «легкой, восхитительной, энергичной, одевающейся с большим вкусом», хотя ее «еженедельно



разносят в какой-нибудь крупной газете». Однажды вечером он идет смотреть ее в роли Коломбины в большой пантомиме, созданной для нее умными людьми, где она «попеременно бывает благопристойной, феерической, безумной, игривой, несравненной, с артистичными ногами и танцующими глазами...». «Танец, — замечает он, — это поэзия рук и ног». Позже он обнаружил, что у нее и у него «совершенно одинаковые понятия о кухне и системе питания, необходимой избранным созданиям». Он выясняет, что Хвастунья любит «мясо с кровью и вина, не ведающие меры опьянения», и не гнушается ни соусами, ни рагу, ни перцем, ни английскими пряностями, ни шафраном, ни колониальными и экзотическими приправами, ни мускатом, ни ладаном.

Это необычайно чувственный женский персонаж. В нем немного от Лолы Монтез, немного от Помарэ, но чрезвычайно мало от Жанны, даже если то тут, то там она вдруг возникает между строк, словно неизбежный и впечатляющий образ.

Под названием «Хвастунья» новелла появилась в январе 1847 года в «Бюллетен де ла Сосьете де жан де леттр». Бодлер подписал ее именем Шарль Дефаи и сообщил в коротеньком примечании, что отныне это будет его литературным именем, сокращенным от использованного им ранее Шарль Бодлер-Дюфаи.

Прочитав «Хвастунью», некоторые обнаружили в ней бальзаковские интонации. Бальзак, как известно, с давних пор был одним из самых любимых романистов автора, а кроме того, он упоминался в самом повествовании с прямой ссылкой на «Златоокою девушку». И, безусловно, читатели еще помнили, как заканчивалась брошюра «Салон 1846 года»: «... и Вам, о Оноре де Бальзак, самый героический, самый удивительный, самый романтичный и поэтический среди всех персонажей, рожденных вашей творческой фантазией!»

Однако своей темой, если не повествовательной структурой, новелла скорее напоминала не Бальзака, а Теофиля Готье. Не считая того, что она весьма иронична, в духе очерка «Как платят долги, имея гениальную голову» и заметок для сатирической газеты «Тентамар».

Вскоре после появления «Хвастуньи» Асселино, великий пожиратель книг и большой любитель литературы о сверхъестественном, сообщил Бодлеру, что в одном журнале он прочитал перевод американского фантастического рассказа, который покорило его, — это «Черный кот» некоего Эдгара Аллана По. Асселино сказал, что это имя он открыл благодаря коротенькому очерку, опубликованному несколькими месяцами раньше в «Ревю де Дё Монд» за подписью Эмиля Форга. Бодлер

немедленно ознакомился с «Черным котом» и тоже пришел в восхищение. Он уловил тон, видение, которыми не обладали французские фантасты, почти все следовавшие по стопам Гофмана, и решил раздобыть тексты американца в оригинале, хотя не очень хорошо знал английский язык.

Однако это счастливое литературное открытие, увы, не устраняло сложностей повседневной жизни. Ибо Бодлер все еще не расплатился с долгами, его по-прежнему преследовали кредиторы во главе с Аронделем. Ибо непреклонный, несговорчивый Ансель не дает ему ни су аванса. Ибо госпожа Опик не имеет ни малейшей возможности ему помочь, разве что время от времени ссужает из своего собственного содержания жалкие суммы.

И к тому же есть Жанна, которая по-прежнему рассчитывает на Бодлера, хотя она по большей части довольствуется сущими пустяками. Ей достаточно получать табак и спиртное, иметь возможность ежедневно спать после обеда, болтать с соседками, дарить ночи своему любовнику, если он не отправится в какую-нибудь конуру к несчастной проститутке или не надумает соблазнить безвестную актрисулю.

Кстати, по поводу актрисы — речь пойдет о Мари Добрен. В августе 1847 года в театре «Порт-Сен-Мартен» она играла главную роль в «Золотоволосой красавице», феерии, основанной на сказке госпожи д'Онуа и созданной братьями Коньяр, Шарлем Теодором и Жаном Ипполитом. После «Трехцветной кокарды», поставленной в 1831 году, эти двое шли от успеха к успеху со всеми пьесами, будь то водевили или мелодрамы, популярные ревю или комические оперы, именно в их «Лесной лани» дебютировала двумя годами раньше Лола Монтес после возвращения из Пруссии.

Подобно Лоле Монтес, миловидная Мари Добрен в свои двадцать лет обворожила Бодлера. Они полюбили друг друга, но очень скоро весьма недружелюбно расстались, оба желая, чтобы их пути никогда больше не пересекались.

## НА БАРРИКАДАХ

К концу 1847 года Бодлер оказался совсем на мели. Обремененный долгами, не в силах более терпеть этого, он обратился к матери, зная, что ее муж, генерал Опик, только что был назначен комендантом Политехнической школы. В длинном письме Шарль поведал ей о своем плачевном положении.

«Счастливым от обладания квартирой и мебелью, но совершенно без денег, я два или три дня искал помощи, и вот в понедельник вечером, вконец измученный, расстроенный и голодный, я вошел в первый попавшийся отель и с тех пор там нахожусь, *и на то есть причина...* Израсходовал я не очень много, каких-нибудь тридцать или тридцать пять франков за неделю, но это еще не все. Полагаю, что по Вашей доброте, к несчастью, всегда недостаточной, Вы сообразовали бы вытащить меня из глупой ситуации, в какую я попал, но что мне делать *завтра*? Ведь праздность меня убивает, точит меня и пожирает <...> Мне случилось по три дня валяться в постели то потому, что не было белья, то из-за отсутствия дров... В последний раз, когда Вы любезно дали мне пятнадцать франков, *двое суток перед этим*, то есть сорок восемь часов, я ничего не ел!»

Далее он сообщал, что принял «искреннее, необратимое решение» покинуть Париж, уехать жить на остров Маврикий и стать воспитателем детей Эммелины, прекрасной креолки, и Антуана Отара де Брагара. Это ему будет не в радость, а «в наказание и во искупление своей гордыни».

Однако он сразу отказался от своего намерения, как только госпожа Опик прислала ему немного денег. Но вместо того, чтобы предаться праздности, Бодлер обдумывает варианты новелл и даже романов, одни — в ироническом и реалистическом духе «Хвастуньи», другие — более близкие по стилю к фантастическим историям Бальзака, Готье или Нодье, умершего в 1844 году. Бодлер записывает названия, порой в нескольких строках набрасывает планы: «Невидимый маркиз», «Роковой портрет», «Исландская цикута», «Обожаемая негодница», «Автомат», «Любитель красненького», «Девственная любовница», «Кредо любимой женщины», «Самоубийство в ложе бенуара», «Аналитический метод для проверки чуда»...

У него есть общие планы с Шанфлёрю, с которым он теперь часто встречается, главным образом в кафе «Ротонда», расположенном на углу

улицы Экольде-Медсин и улицы Отфёй, в тридцати метрах от своего родного дома. Более всего их сближают интерес к карикатуре и почти слепая страсть к Домье<sup>[27]</sup>. Их литературные вкусы совпадают не всегда, а бывают и вовсе противоположными, но оба, безусловно, ценят друг друга. В январе 1849 года Бодлер пишет заметку, посвященную трем томам рассказов Шанфлэри: «Бесценный пес», «Бедный трубач» и «Отблеск огня». Он хвалит его стиль, «широкий, неожиданный, резкий, поэтичный, как природа», без «напыщенности и литературщины».

Шанфлэри знакомит Бодлера с Гюставом Курбе, который с удовольствием принимается писать его портрет: черные коротко остриженные волосы, вздернутый нос, развязанный на груди галстук; он курит трубку, сидя за столом, где разложены книги, папка с рисунками, чернильница и прекрасное гусиное перо; опершись левой рукой о диван, он поглощен чтением какого-то толстого тома, что-то вроде словаря, которым, судя по всему, пользовались бесчисленное количество раз. Ничего общего с портретом, написанным в 1844 году несчастным Деруа, где Бодлер изображен с растрепанными волосами, бородкой и усами.

Затем, опять-таки благодаря Шанфлэри, он подружился с Жаном Валлоном, молодым очень образованным философом, безмерно увлеченным Гегелем, стремившимся найти решение сложных политико-религиозных проблем, и Шарлем Тубеном, сотрудничавшим с «Корсэр-Сатан», уроженцем Ду, его интересовали археологические и фольклорные исследования, и в Париж он приехал, чтобы подготовиться к конкурсу на должность преподавателя высшего учебного заведения.

Когда 22 февраля 1848 года снова разразилась революция, все эти богемные художники внезапно осознали себя сторонниками восставших против существующего режима и радетелями за формирование более справедливого общества, более человеческого и *гармоничного*. Их воодушевляли теософско-мистическое учение Эмануэля Сведенборга, проповедовавшего свободную волю, и утопические идеи философов-социалистов Шарля Фурье, Жозефа Прудона и Пьера Леру, друга Жорж Санд, который и ввел в обиход понятие «социализм»<sup>[28]</sup>.

По мнению этих ученых мужей, буржуазия присвоила себе права, завоеванные в 1789 году<sup>[29]</sup>, гражданское равенство оказалось всего лишь иллюзией для бедного труженика, не защищенного новой системой, которая эксплуатирует его и лишает привилегий. Как писал Фурье в своей «Теории всемирного единства», разум «ничего не сделал для счастья, раз не предоставил социальному человеку то благосостояние, которое является

предметом всех вожделий». Под *социальным благосостоянием* Фурье понимал «распределенное изобилие, которое спасает от нужды наименее богатых людей и обеспечивает им, по крайней мере, *минимально* участь», именуемую «средним буржуазным достатком».

Несмотря на то что Франсуа Гизо<sup>[30]</sup> запретил любые сборища, группа студентов и рабочих около трех часов пополудни прошла по бульварам и Королевской улице. Увеличиваясь на каждом перекрестке, она в конце концов заполнила площадь Согласия, а тем временем был организован конный отряд солдат муниципальной гвардий, получивший приказ зарядить оружие и разогнать толпу.

И в гуще этой бурлящей толпы, этой распаленной, неистовой толпы оказался Бодлер. К величайшему удивлению Курбе и Тубена, тоже находившихся там.

Они не могли понять, что с ним случилось, ведь Бодлер всегда открыто выражал неприязнь к политике и всегда презирал республиканцев — недругов «роз и ароматов», Ватто, Рафаэля, роскоши, «изящных искусств и литературы», словом, людей, с которыми не следовало церемониться.

Когда на Елисейских Полях появились пешие гвардейцы, Бодлер и его товарищи укрылись на парапете сада, окаймляющего площадь. Горстка бунтовщиков неожиданно захватила и подожгла караульное помещение. И тут какой-то солдат вонзил штык в грудь рабочего, пытавшегося спрятаться за деревом. Бодлер и Курбе в ужасе поспешили сообщить об этом Эмилю де Жирардену, директору «Прессы», крупной популярной газеты, основанной в 1836 году.

На следующий день, 23 февраля, все они, в том числе и Шанфлери, собрались на прилегающих к площади Шатле улицах. Все двери домов были закрыты. То тут, то там стали воздвигаться баррикады. Слышались стрельба, стук деревянных башмаков по мостовой, непрерывные вопли. На бульваре Тампль восставшие узнали об отставке Гизо. Охваченные энтузиазмом, они размахивали красными флагами. Со всех сторон раздавались крики радости, сотни голосов грянули «Марсельезу» и «Марш жирондистов».

Двадцать четвертого февраля Бодлер вместе с Арманом Барте, безансонским писателем, с которым он также познакомился в кафе «Ротонда», очутился на перекрестке улицы Бюси. И вот оба они на баррикаде, и у каждого — охотничье ружье и патронташ, добытые во время ограбления лавки торговца оружием. Однако Бодлер возбужден гораздо больше, чем его приятель Барте. Он мечется из стороны в сторону и, не переставая, все громче кричит одни и те же слова: «Надо пойти расстрелять

генерала Опика!»

## НЕУСТОЙЧИВЫЙ ЖУРНАЛИСТ

После отречения от престола бежавшего в Англию Луи Филиппа и провозглашения Второй республики вечером 24 февраля 1848 года Франция становится чуть ли не политической землей обетованной: учреждено всеобщее избирательное право, созданы национальные мастерские, упразднено рабство в колониях, провозглашена свобода прессы... И в результате газеты начинают множиться десятками, сотнями, каждый писатель и каждый хроникер желает во что бы то ни стало обзавестись своей, каждый политический деятель стремится заполучить собственную трибуну, дабы иметь возможность распространять свои взгляды. За три дня, с 24 по 27 февраля, появляются «Републик», «Армони Универсель», «Трибюн насьональ», «Вау дю пёпл», «Монитёр републикен», «Републик франсез», «Ами дю пёпл», «Репрезантан дю пёпл»... К ним в тот же день, 27 февраля, добавляется «Салю пюблик» («Общественное спасение»). У этой основанной на крайне скудные средства газеты три редактора. Это трое неразлучных друзей из кафе «Ротонда»: Тубен, Шанфлери и Бодлер. Последний поостерегся привести в исполнение угрозы, высказанные в адрес генерала Опики.

Первый номер «Салю пюблик», республиканский и социалистический, вышел в количестве четырехсот экземпляров, но распространители, которым их доверили, в тот же день сбежали. Для второго номера Курбе выполнил виньетку. Бодлер без колебаний облачился в белый халат и встал на перекрестке Одеон, надеясь самолично распродать газету. Притом один экземпляр он доставил в архиепископство Парижа, а другой — Франсуа Распаю<sup>[31]</sup>, которым восхищался и который 24 февраля провозгласил Республику в парижской ратуше. И все-таки это был провал, обидный провал: за неимением средств и читателей третий номер «Салю пюблик» так и не вышел.

Поучаствовав в нескольких бурных политических собраниях в канун предстоящих выборов в Учредительное собрание, Бодлер ищет сотрудничества с другими газетами и довольно быстро находит подходящий случай в «Трибюн насьональ». Это был «орган, выражавший интересы всех граждан», финансировал его Комбарель де Леваль, при монархии левоцентристский депутат от департамента Пюи-де-Дом, — орган демократический и республиканский, но отстаивающий порядок, то есть справедливость, согласие, «господство разума и честности». Таким

образом, «Трибюн насъональ» выступала против «всего, что могло вернуть времена гнева и крови», против «случайных деспотов», против Ламартина<sup>[32]</sup>, объявленного на ее страницах жалким государственным деятелем, и против теоретиков Республики.

Бодлер поступил в «Трибюн насъональ» в апреле, когда готовился третий номер, и был назначен секретарем редакции. Иначе говоря, он стал *гражданином*, который «делает газету» и верстает, согласно их значимости, отчеты, отклики и новости. Работа нудная, и он ее бросает через несколько месяцев, чтобы перевести первый рассказ Эдгара Аллана По «Месмерическое откровение», который был опубликован 15 июля в «Либерте де пансе», и чтобы занять затем пост главного редактора очень консервативной и очень патриархальной газеты «Репрезантан де л'Эндр», выходившей по вторникам и пятницам.

Его прибытие в Шатору стало поводом для банкета, на котором он присутствовал в красном фуляре, повязанном вокруг шеи, не проронив ни слова. Лишь за десертом он насмешливо заявил, что приехал сюда, дабы быть «верным слугой умов» своих хозяев.

А буквально через день все пришли в ужас, прочитав начало первой статьи Бодлера:

«Когда добрейший Марат и чистоплотнейший Робеспьер требовали, один — триста тысяч голов, а другой — непрерывной работы гильотины, они лишь повиновались неотвратимой логике своей системы».

Скандал достиг своего предела, когда к Бодлеру в Шатору приехала довольно вульгарная актриса, которую он выдавал за свою жену и с которой постоянно ссорился...

Написав наспех несколько статей и поняв, что жизнь в провинции для него невыносима, Бодлер возвращается в Париж.

«Салю пюблик», «Трибюн насъональ», «Репрезантан де л'Эндр»: три газеты 1848 года, три разных мнения, три различных взгляда на французское общество.

Что же побуждает Бодлера менять свои убеждения и всего за несколько недель переходить из одного лагеря в другой?

В действительности одно весьма простое обстоятельство, заключавшееся в том, что у него никогда не было политических убеждений и не существовало никакой основы ни для какого убеждения. Более того, он полагал, что каждый человек имеет право отступить, отказаться от одной идеи, дабы познать новое ощущение от служения впоследствии другой цели или даже противоположной. С его точки зрения, у всех людей есть право противоречить себе.



И в то же время Бодлер не обманывается: он знает, что в его упоении 22, 23 и 24 февраля было нечто романтическое, литературное, что-то от воспоминаний о прочитанном, в частности, о произведениях Жозефа Прудона, «Друге народа» Франсуа Распая и «Песне рабочих», «восхитительном крике боли и горечи» его друга Пьера Дюпона, опубликованной двумя годами раньше. Он знает, что в течение этих трех лихорадочных дней его друзья и сам он тешили себя утопиями, строили воздушные замки. И, наконец, он знает, что где-то в самой глубине его существа таится естественное удовольствие от разрушения.

Словом, его возмущение имело главной целью победить и уничтожить пошлость, заурядность, и он прекрасно сознает, что эта заурядность подтачивает, разрушает и народ, и буржуазию. Нет, полностью прогресс он не отвергает, но видит его лишь в отдельной личности. Того же мнения придерживался и Делакруа, когда заявлял: «Напрасно искал я истину в массах, я встречаю ее, если встречаю, только в отдельных личностях».

Это заставляет полагать, что, по мнению Бодлера, как и по мнению Делакруа, в противоположность руссоистскому учению, человек нехорош от природы...

Впрочем, триумфальное избрание 12 декабря Луи Наполеона Бонапарта президентом окончательно *деполитизировало* Бодлера. Морально, интеллектуально и физически. Он не пошел голосовать, не оказал поддержку принцу, в противоположность семидесяти процентам избирателей, в большинстве своем монархистов и католиков. И ему было все равно, что Париж отныне стал орлеанистским.

Друзьям, которые его спрашивали, он отвечал, что если бы голосовал, то голосовал бы только за себя. Не исключено, что будущее, сказал он им, принадлежит «людям деклассированным».

## ВРЕМЯ УПАДКА

После своего журналистского опыта, который ни к чему не привел, Бодлер пребывает в растерянности. Он записывает кое-какие разрозненные мысли, правит некоторые накопившиеся стихи, набрасывает рисунки, снова думает о том, чтобы взяться за написание романов, названия которых — довольно броские — заносит в блокноты, наивно полагая, что однажды они смогут обеспечить ему целое состояние: «Преступление в коллеже», «Чудовища», «Лесбиянки», «Обучение чудовища», «Преступная любовь», «Сутенер», «Бесчестная женщина», «Любовница идиота»...

Он много читает — причем произведения очень разные, от рассказов Эдгара Аллана По, переведенных на французский и появившихся в некоторых журналах (7 октября 1849 года По в сорок лет умер в Балтиморе) до пророческих текстов Жозефа де Местра, скончавшегося в 1821 году, как раз в год рождения Бодлера: «Рассуждения о Франции», знаменитые «Санкт-Петербургские вечера» и «Рассмотрение философии Бэкона». Эти работы произвели на Бодлера впечатление, заставили осознать, что между видимым миром и невидимым непрерывно устанавливаются «взаимные отношения», что не следует примешивать Бога к человеческой слабости, к ужасу покаянной судьбы человечества, отмеченной первородным грехом, и что естество совпадает со злом, ибо единственное непростительное нарушение — это гордыня по отношению к Богу.

Но более всего его поразило то обстоятельство, что де Местр ставит настоящие вопросы, *воистину* настоящие, те самые, которые занимают и его, Бодлера, те самые, которые преследуют его, терзают с тех пор, как он вернулся из Африки, и о которых мастерски сказал Сент-Бёв в длинном очерке от 1843 года.

«Воображение и колорит, присущие высоким помыслам, — писал Сент-Бёв, — навсегда внедрились в его сознание вечные проблемы. Происхождение зла, происхождение языков, грядущие судьбы человечества — зачем война? — почему страдает праведник? — что такое жертва? — что такое любовь? Автор мучительно пытается найти ответ на все эти *зачем* и *почему*, разгадать их смысл, тем самым давая жизнь прекрасным видениям».

У Жозефа де Местра, кроме стилистики, Сент-Бёва восхищают воодушевление, возвышенный язык, простой и ясный, свойственные

каждому из его произведений.

Что касается Бодлера, то в творчестве «великого теократического теоретика» ему нравятся его крайняя суровость, отвращение одновременно и к скептицизму, и к неоспоримости, к общепринятым идеям и мнениям, отказ обманывать себя, неприязнь к Вольтеру и всем его соперникам, анализ французской революции, рассматриваемой как *сатанинская* затея, его *атакующая* сторона, его фразы, ужасающие фразы, завораживающие ум. А быть может, еще и то обстоятельство, что этот пылкий человек, этот савойский аристократ сумел в одиночестве вынести «огромную тяжесть того, что именуется ничто»<sup>[33]</sup>, и перешел все границы, чтобы сказать самое главное.

С помощью Жозефа де Местра он, во всяком случае, научился *рассуждать*. То есть видеть, понимать мир, обладая *универсальным* ключом, равно как убеждать себя, что дендизм, поборником которого он себя считал и хотел им быть, соответствует как нельзя лучше его идеалам и его потребности держаться как можно дальше от политических волнений и от толпы, которую он презирал.

«Что я думаю о голосовании и об избирательном праве.

О правах человека

Что есть гнусного в любой деятельности. Денди ничем не занимается. Вы можете представить себе денди, который обращается к народу, за исключением тех случаев, когда он высмеивает его?

Нет другого разумного и уверенного правления, кроме аристократического.

Монархия или республика, основанные на демократии, одинаково слабы и абсурдны.

Безмерная тошнотворность плакатов.

Существует только три достойных уважения существа: священник, воин, поэт. Знать, убивать и создавать.

Остальные люди, угнетаемые и обираемые, годятся для конюшни, то есть для занятий тем, что именуется профессиями», — писал Бодлер в книге «Мое обнаженное сердце».

Несмотря на то что Бодлер научился таким образом рассуждать, вести он себя продолжает как существо *безрассудное*. Видно, недолгая авантюра с Шатору и «Репрезантан де л'Эндр» не послужила ему уроком, и он отправился в Дижон, чтобы сотрудничать с «Травай», в подзаголовке которой значилось «Газета народных интересов» — это никак, решительно

никак не соответствовало проповедям де Местра. Он устраивается в гостинице, твердо намереваясь найти жилище, меблировать его и вызвать туда Жанну. Однако его ждут одни разочарования, и через несколько месяцев блужданий, скуки и новых страданий, связанных с последствиями сифилиса, которым он заразился ранее, Бодлер возвращается в Париж, потерянный, как никогда. Он снимает маленькую квартирку в Нёйи, в доме номер 95 на авеню Республики.

Стоило представиться случаю или даже не представиться, как Бодлер отваживался на провокации и, по своему обыкновению, рассказывал невесть что невесть кому. Например, что он сын священника-расстриги. Что его изнасиловали моряки, когда он путешествовал на «Пакетботе Южных морей». Что он выкрал темы для экзамена на степень бакалавра, переспав с гувернанткой одного экзаменатора. Что он долгое время жил в Индии, где знал всякого рода женщин и приобщился к разного рода распутству. Что генерал Опик украл у его матери *гигантское* состояние, которое отец будто бы оставил Бодлеру после смерти.

При этом некоторые из его мистификаций имели порой приятный привкус розыгрыша.

Так, встретив одним прекрасным утром на улице Банвиля, Бодлер предложил ему пойти принять вместе с ним ванну, затем, когда оба они погрузились в теплую воду, заявил внезапно со слащаво коварным видом: «А теперь, когда вы беззащитны, мой дорогой собрат, я прочту вам трагедию в пяти актах!»

## МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗДАТЕЛЯМИ

В июне 1850 года Бодлер отдает в «Магазен де фамий» два стихотворения: «Вино порядочных людей» и «Воздаяние гордости». Их появление в рубрике «Семейные стихи» крайне удивило окружение писателя, ибо это периодическое издание адресовано было прежде всего «дамам» и «барышням» и обращалось на своих страницах наравне с модой и шитьем к искусству и литературе — литературе благопристойной и банальной. Публикация сопровождалась сообщением о том, что автор выпустит вскоре книгу под названием «Лимбы», призванную показать брожение умов и унылые настроения современной молодежи.

Это новое название, пришедшее на смену «Лесбиянкам», Бодлер находил более соответствующим духу и сути его стихов. Он остановился на нем, думая о тех исполненных своеобразной меланхолии картинах Делакура, по поводу которых в брошюре «Салон 1846 года» он писал: «Мы ощущаем дыхание этой меланхолии даже в „Алжирских женщинах“, самой изящной и красочной его картине. Поэтический камерный мирок, отмеченный покоем и тишиной, украшенный роскошными тканями и женскими безделушками, источает неуловимый аромат неблагополучия, который ведет нас к непостижимым пределам печали».

Бодлер предполагает напечатать свои «Лимбы» у Мишеля Леви, который издал «Салон 1846 года» и анонсировал на четвертой странице обложки выход в ближайшее время книг «Лесбиянки» и «Кредо женщины».

С помощью своих двух братьев, Кальмана и Натана, своей семьи и многочисленных внушительных связей Мишель Леви быстро развил собственную издательскую деятельность и расширил торговую сеть. Он сделал ставку на пьесы (в основном водевиль и мелодраму) и на некоторых известных авторов, таких как Проспер Мериме, Фредерик Сулье, Поль Феваль и Александр Дюма, публикацию полного собрания сочинений которого он начал в 1849 году, приложив при этом немало усилий для рекламы и в Париже, и в провинции. Большой интерес проявил он также к драматургическому творчеству Виктора Гюго, произведениям аббата де Ламенне и Альфонса Ламартина, наладил серьезные контакты с Жорж Санд, с тем чтобы печатать отныне все, что она писала: ее романы, пьесы, путевые впечатления, автобиографические тексты...

Кроме того, Мишель Леви, чье издательство находилось в доме 2-бис

по улице Вивьен, выпустил в свет книги, имевшие определенный успех, вроде «Жерома Патюро в поисках лучшей из республик» Луи Рейбо и «Сцен из жизни богемы» Анри Мюрже, как в их романной версии, так и в сценической (постановка первой стала триумфом в «Театре Варьете» и потом в течение многих недель привлекала толпы зрителей). Начиная с августа 1850 года он выпускает по очень низкой цене великие пьесы Корнеля и Расина. Словом, в конце 1840-х годов и в начале 1850-х молодой крупный предприниматель, каковым он стал, занимает важнейшее место во французской культурной жизни, равно как и в политической, ибо в его каталогах присутствуют также Адольф Тьер, Луи Блан<sup>[34]</sup>, Дезире Низар<sup>[35]</sup> и Луи Филипп собственной персоной, «бывший король французов», как назвал себя сам свергнутый монарх.

Если Мишель Леви более трех с половиной лет дожидался рукописи «Лесбиянок», теперь переименованной в «Лимбы», то потому, что Бодлер постоянно возвращался к своим стихам, правил их, размышлял, в каком порядке следует их печатать. Асселино, которого это беспокоило, Бодлер, однако, отвечал, что он собрал стихи в две переплетенные в картон тетради и отдал каллиграфу — свидетельство того, что вскоре он собирается отнести их издателю.

Однажды вечером, оказавшись у матушки Перрен, женщины, которая держала общий стол на улице Пти-Лион-Сен-Сюльпис, куда Бодлер постоянно заходил вместе с Шанфлери и Жаном Валлоном, он познакомился с Огюстом Пуле-Маласси.

Выходец из очень старинного семейства нормандских печатников, чьи печатные станки в Алансоне восходили к XVI веку, Огюст Пуле-Маласси был на четыре года моложе Бодлера и подобно ему был расположен к писателям-маргиналам, забытым, отверженным, нарушителям от литературы. Впрочем, уже в шестнадцать лет он опубликовал в «Ревю де л'Орн» заметку о рассказах Бонавентюра Деперье, а в семнадцать сделал перепечатку тиражом в тридцать экземпляров пьесы Гийома Леруэ.

Получив в августе 1847 года степень бакалавра на филологическом факультете в Париже, в сентябре он успешно сдал экзамен в школу Хартий и через два месяца был туда принят. Однако, вместо того чтобы следовать по предназначавшемуся ему пути и выбрать прекрасную карьеру архивиста, он встал на сторону революции 1848 года и вроде Бодлера и Шанфлери приобщился к захватывающей авантуре боевой журналистики, основав собственное издание наподобие «Салю пюблик» под названием «Эмабль фобурьен» («Любезный сердцу житель предместья») в качестве игривой ссылки на слова, сказанные Луи Филиппом, искавшим «вечный

способ держать в должном повиновении весьма беспокойное население Парижа и его любезных сердцу предместий», а в подзаголовке значилось: «Газета каналов».

Несмотря на свое нормандское происхождение, Пуле-Маласси привнес в «Эмабль фобурьен» речивость парижского уличного мальчишки, среди сотрудников редакции особенно отличался Альфред Дельво с его пристрастием к крепким словечкам и обочинам Истории. Однако газету постигла та же незавидная участь, что и «Салю пюблик», а также 90 процентов из пятисот газетенок, появившихся в первые недели после 24 февраля 1848 года: выпустив всего пять номеров, издание прекратило свое существование.

Вскоре Бодлер и Пуле-Маласси стали посещать «Летери дю Парадокс» на улице Сент-Андредез-Ар, куда заглядывали также Альфред Дельво, Надар, Прива д'Англемон, а иногда и Жерар де Нерваль. Они все больше сближаются, хотя дендизм и непримиримый индивидуализм Бодлера и неумный республиканский пыл Пуле-Маласси плохо сочетались. Вместе они вспоминали писателей прошлого, которых мало кто знал и читал, с жаром говорили о любви к книгам и качестве их верстки, об иллюстраторах, о богато украшенных переплетах, о переплетах в голландском стиле, о переплетах с использованием лака Мартена, о тисненых узорах, о прессах для тиснения, о братьях Бозерян, которые произвели переворот в искусстве оформления книг...

Худощавый, со светлыми, отливающими рыжиной волосами, с голубыми искрящимися глазами, с лицом, удлинненным острой бородкой, и с чуточку насмешливым видом Пуле-Маласси, похожий на Генриха III, в свои двадцать пять лет имел на первый взгляд все, чтобы нравиться, все, чтобы преуспеть. Уже тогда он собирался избрать издательское дело главным своим занятием.

## ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ МУЖЧИНА

Продолжая править будущее издание стихов отдельным томом, Бодлер в своих работах нередко переходит от одного жанра к другому: поэзия, очерки, статьи о литературе, статьи о живописи... Он полагает, что мог бы также писать и о музыке. В большинстве случаев он работает без заранее обдуманых планов, исходя из возможности публикации, которая представлялась ему, и встреч с теми или иными людьми.

Но в первую очередь он ищет возможности заработать деньги.

Уже более двух лет он не мог, хотя бы время от времени, рассчитывать на финансовую поддержку матери, ибо та находилась в Константинополе, куда генерала Опики назначили послом. За несколько дней до их отъезда Опики снова резко упрекнул Бодлера за *скандальную* связь с Жанной Дюваль, которая, как он утверждал, его обирает и обманывает. Что окончательно рассорило их.

В феврале 1851 года Бодлер подружился с Феликсом Соларом, закоренелым библиофилом, большим любителем старинной литературы. Феликс Солар, родившийся в 1815 году, поначалу сочинял водевили, впоследствии увлекся журналистикой и был одним из основателей «Эпок» и главным редактором «Патри». Теперь же занялся новым изданием — выходившим по вечерам политическим и литературным еженедельником «Мессаже де л'Ассамбле». В марте он согласился опубликовать в четырех частях «Вино и гашиш, как способ умножения индивидуальности», очерк, который Бодлер написал на основании личных опытов (особенно тех, что были пережиты им в гостинице «Пимодан»).

Девятого апреля, в день своего тридцатилетия, Бодлер с радостью обнаружил в «Мессаже де л'Ассамбле» одиннадцать своих стихотворений. Это «Скверный монах», «Идеал», «Веселый мертвец», «Кошки», «Смерть художников», «Смерть любовников», «Бочка ненависти», «De profundis clamavi», «Разбитый колокол», «Совы» и последнее стихотворение, начинавшееся словами «Озлоблен Плювиоз на жизнь и на людей». Они были собраны под общим названием «Лимбы» в соответствии с анонсом «Магазен де фамий» десятью месяцами раньше.

Едва успев насладиться этой публикацией своих стихов, самой значительной за все время, Бодлер узнает, что отчим покидает французское посольство в Константинополе и что его ждет новое назначение. В июне генерал и госпожа Опики оказались проездом в Париже, где поселились в



отеле «Данюб» на улице Ришпанс, — короткая остановка в несколько недель до нового отъезда за границу, но не в Лондон, как предполагалось какое-то время, а в Мадрид.

Бодлер наконец снова увидел свою мать. Сначала их встречи омрачали ссоры: он проклинал ее, сердился за то, что она покинула его в нужде. Она, теперь уже почти шестидесятилетняя элегантная дама, уверяла, что никогда не переставала его любить и думать о нем, что чувствовала себя виноватой в том, что предоставила его своей судьбе. Оба они очень скоро раскаялись и взаимно простили друг друга, он — первый, осознав, до какой степени мать определяет его существование.

В июне 1851 года стояла прекрасная погода, и они вместе совершали прогулки по Парижу и его окрестностям. Бодлер вспоминал свое детство, домашний очаг на улице Отфёй, те счастливые годы, когда он был еще избалованным и невинным мальчиком.

Казалось, все в его странной и необычной судьбе решилось там, и только там...

Тем не менее это была всего лишь передышка, и когда в июле госпожа Опик отправилась в Мадрид, куда ее муж-посол уехал раньше, Бодлер вернулся к Жанне, другой женщине его жизни.

Отныне они делят не только кров, но и невзгоды. После пребывания в Нёйи они очутились на улице Марэ-дю-Тампль. Теперь Жанна уже не «танцующая змея», и у нее уже не тот стан, который «склоненный и удлиненный дрожит, как чуткая ладья», не те «благоухающие кудри, что благовоний едких полны», теперь она — «Больная муза».

О, муза бедная! В рассветной, тусклой мгле  
В твоих зрачках кишат полночные виденья;  
Безгласность ужаса, безумий дуновенья  
Свой след означили на мертвенном челе.<sup>[36]</sup>

Жанна сильно располнела, подурнела, но при этом обрела некую самоуверенность. Еще недавно она позволяла Бодлеру делать все, что ему вздумается, не осуждая и не упрекая его, а теперь на каждом шагу пилит его, осыпает бранью, повторяет, что он неудачник, что не способен зарабатывать своим пером, что напрасно бегает по редакциям газет в надежде пристроить свои статьи, в частности, посвященные карикатуре, — это одно из его пристрастий, — ему везде отказывают. Жанна признается, что изменяет ему. Потому что вынуждена это делать, говорит она. Ведь у

него нет средств кормить ее.

Вот в такой-то тлетворной обстановке Бодлер пишет очерк о Пьере Дюпоне, своем ровеснике, которого знает с 1844 года. В августе 1851 года этот очерк станет предисловием к двадцатому выпуску сборника поэм и песен его друга. Он находит для него самые теплые слова. «Услышав этот дивный крик боли и горечи („Песнь рабочих“, 1846 год), — писал Бодлер, — я был восхищен и растроган. Столько лет мы ждали хоть немного настоящей и сильной поэзии!» У Пьера Дюпона его покоряет «безграничная вера в природную доброту человека, исступленная любовь к доброте и жизнерадостность», объясняющие, по мнению Бодлера, «закономерный успех всех его произведений». «Вечная слава Пьеру Дюпону за то, что он первый взломал дверь. С топором в руках он обрубил цепи подъемного моста крепости; теперь путь для народной поэзии свободен».

И в заключение Бодлер писал:

«Владеть настоящим и красивым голосом недостаточно, гораздо важнее иметь чувство. Большинство песен Дюпона, будь то состояние духа или рассказ, — это лирические драмы, описания в которых составляют обрамление и основу. Чтобы хорошенько проникнуть в суть произведения, вам необходимо *влезть в шкуру* созданного персонажа, глубоко осознать чувства, которые он выражает, и так ощутить их, чтобы вам показалось, будто это ваше собственное творение».

Последняя фраза — это, по сути, кредо самого Бодлера. По его мнению, произведение существует, только если сам он душой и телом может проникнуть в него. И если он полностью может отождествить себя с его автором. Как Эдгар Аллан По.

## ПРОКЛЯТЫЙ СВЯТОЙ

Заказав у лондонского книготорговца полное собрание сочинений По, Бодлер решает написать очерк об авторе «Месмерического откровения», рассказа, который он сам перевел в 1848 году для «Либерте де пансе» и во вступлении к которому утверждал, что «сильные» писатели все «более или менее философы». И называет имена Стерна, Дидро, Лакло, Гофмана, Гёте, Рихтера, Матюре-на, автора «Мельмота», новую версию которого ему хотелось бы создать, и умершего в 1850 году Бальзака, которого он почитал.

По сути, в 1852 году он далеко не полностью знал творчество американского автора. Тем не менее то, что Бодлер прочитал из его произведений, что о нем узнал и что ему рассказали два приятеля, Асселино и Барбара, казалось близким его собственным чаяниям, вкусам и мыслям. Поэтому он спешит побольше разузнать о жизни этого человека, собирает любую информацию и документы о нем. В результате в руки Бодлера попадают очерк Эмиля Форга, опубликованный в «Ревю де Дё Монд» в 1846 году, первый о По на французском языке, различные биографические воспоминания и некрологические статьи, появившиеся в Соединенных Штатах, в том числе написанные Руфусом У. Грисуолдом, его издателем и душеприказчиком в Нью-Йорке.

Как выяснилось впоследствии, Грисуолд, нанизывая в своих воспоминаниях одну ложь на другую, создал неверный, если не сказать искаженный и постыдный образ Эдгара По. Он до такой степени старался принизить его, что осмелился утверждать, будто 9 октября 1849 года немногие огорчились, узнав о смерти писателя, и уподобил его опасному опиоману. На самом же деле По никогда не употреблял ничего, кроме лауданума, что делали в ту пору тысячи других людей исключительно в лечебных целях.

Разумеется, все эти свидетельства, и правдивые и лживые, Бодлер, находясь в Париже, не имел возможности проверить и потому не подвергал сомнению. Но в действительности они мало занимали его. Прежде всего он хотел постичь творческие глубины американского писателя, пытался представить себе, а затем и понять духовный мир этого человека. Справедливости ради надо сказать, что Бодлер при этом не мог не думать о самом себе, о том, какой он поэт, что пережил и претерпел с детских лет. Равно как и о своем двойственном, непостижимом влечении к красоте и

непристойности.

«Все, кто размышлял о собственной жизни, кто нередко обращал свои взоры назад, дабы сравнить свое прошлое с настоящим, все, у кого вошло в привычку с легкостью разбираться в самих себе, знают, какое огромное место занимает отрочество в окончательном формировании духовного мира любого человека. Именно тогда предметы оставляют глубокий след в нежной и бесхитростной душе; именно тогда краски кажутся яркими, а звуки обретают таинственный язык. Характер, духовный мир и стиль человека формируются обычными на первый взгляд обстоятельствами его ранней юности. <...> Краски, склад ума Эдгара По резко выделяются на фоне американской литературы. <...> Все рассказы Эдгара По, можно сказать, биографичны. Человек раскрывается в своих творениях. Персонажи и эпизоды являются обрамлением и драпировкой его воспоминаний», — писал Бодлер в очерке «Эдгар Аллан По, его жизнь и его творения».

При внимательном прочтении рассказов По Бодлера поражает то, что в основе их эффектов всегда лежит логическая связь событий, в то время как, например, Гофман выстраивает свою фантастику на своеволии и непоследовательности воображения. В определенном смысле рассказы По в какой-то мере походят на научные документы, в подробностях описывающие случаи невроза, психозов, *раздвоения личности*, страхи, уродливые события, как если бы они были отчасти ужасающим доказательством какой-то *поэтической* теоремы в геометрии. И все они, или почти все, зловещи, эти рассказы бродят, непрерывно кружат вокруг мрачных сил, освящая абсолютное торжество смерти: «Вильям Вильсон», «Падение дома Ашеров», «Морелла», «Лигейя», «Тайна Мари Роже», «Маска Красной смерти», «Правда о том, что случилось с месье Вальдемаром», «Убийство на улице Морг»... Чаще всего в этих рассказах погибают женщины. Как в трагической жизни По: одну за другой он видел умирающими своих подруг, свою мать и жену. Но — вещь довольно странная — ни один из его многочисленных рассказов, где на сцене появляются женщины, не повествует об истории любви и не прославляет женскую чувственность.

И еще Бодлера поражает то, что По в своих рассказах, как правило, упраздняет «дополнительные атрибуты» или по крайней мере придает им «минимальное значение». «Благодаря такой сдержанности, — писал Бодлер, — отчетливее проступает исходная идея, и на этой голой основе ярко высвечивается сюжет».

«У Эдгара По — никакого раздражающего хныканья, — уточнял

Бодлер. — <...> Можно подумать, что к литературе он пытается применить приемы философии, а к философии — методы алгебры. <...> Так, пейзажи, которые порой служат фоном для его лихорадочных вымыслов, бесцветны, точно призраки. По, не разделявший пристрастий других людей, изображает деревья и облака, похожие на сновидения о деревьях и облаках, или, скорее, похожие на те странные персонажи, что, подобно им, охвачены сверхъестественной гальванической дрожью».

Свой очерк, который он назвал «Эдгар Аллан По, его жизнь и его творения», Бодлер отдал в «Ревю де Пари». Основанный в 1829 году Луи Вероном, этот литературный ежемесячный журнал был очень популярен в начале 1830-х годов, на его страницах появлялись самые авторитетные романические имена, от Бальзака до Эжена Сю, от Альфреда де Мюссе до Жорж Санд, не говоря о Шарле Нодье, Александре Дюма, Альфреде де Виньи или Сент-Бёве, однако в 1834 году он перестал выходить (Луи Верон предпочел вкладывать свои капиталы в широко распространяющуюся прессу), затем его выкупил Франсуа Бюлоз, и вплоть до 1845 года журнал был просто приложением к «Ревю де Дё Монд».

Начиная с 1851 года обновленное издание «Ревю де Пари» выходит совсем в ином варианте. Им руководит небольшая группа писателей, в их числе Теофиль Готье, Максим Дю Кан и Арсен Уссе, бывший когда-то директором «Артиста», а теперь ставший литератором и более чем когда-либо карьеристом.

Очерк, посвященный Эдгару По, был помещен в мартовский и апрельский номера 1852 года «Ревю де Пари» благодаря вмешательству Готье, которому Бодлер передал также несколько своих стихотворений, высказав пожелание увидеть их напечатанными в одном из ближайших выпусков.

Тем временем он опять сильно поссорился с Жанной. Соседи поговаривали, будто он даже ударил ее подсвечником по голове и мог бы совершить убийство, если бы не удержался в последний момент, внезапно осознав весь ужас своего поступка.

После долгих изнурительных ссор голова его «стала клокочущим вулканом», как писал сам Бодлер, и в конце концов он расстался с Жанной, покинув улицу Марэ-де-Тампль, и поселился сначала в одиночестве в конце мая на бульваре Бонн-Нувель, а затем через пять месяцев в гостинице на улице Пигаль. С собой он захватил только самое необходимое. В том числе издание произведений По на английском языке и словари.

Ибо Бодлер решительно был одержим автором «Черного кота»,

которого он сравнивал с проклятым святым, намереваясь во что бы то ни стало перевести все его рассказы и «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», изданную в Нью-Йорке в 1838 году. А пока две из этих историй, которые он называет *необыкновенными*, печатались в октябре — «Колодец и маятник» в «Ревю де Пари» и «Философия обстановки» (текст скорее напоминает критическое размышление, нежели вымысел) — в «Магазен де фамий», — ему вскружила голову другая женщина: Аполлония Сабатье.

## ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТШЕ

Прочитав «Эмали и камеи» Теофиля Готье, томик в сотню страниц, только что вышедший у Эжена Дидье, Бодлер с волнением обнаружил на девяносто третьей странице стихотворение в восемь строф под названием «К розовому платью». Он без труда догадался, что эти стихи прославляют госпожу Сабатье, женщину, которой он тоже восхищался и которую втайне безумно любил.

Люблю я розовое платье,  
Тебя раздевшее легко:  
И руки наги для объятья,  
И грудь поднялась высоко!

Светла, как сердце розы чайной,  
Прозрачна, как крыло пчелы,  
Чуть розовеет ткань и тайно  
Тебе поет свои хвалы.

И эти складки — только губы  
Моих желаний грозových,  
Хотящих нежно или грубо  
Покрыть тебя лобзаньем их. [\[37\]](#)

В действительности госпожа Сабатье стала госпожой лишь потому, что Готье в один прекрасный день решил назвать ее так. По своему гражданскому состоянию она была всего лишь Аглая Аполлония Сабатье. Родившись в 1822 году в Мезьере в департаменте Арденны, она вполне могла бы зваться госпожой Альфред Моссельман или госпожой Ришар Балл ас, по имени своих щедрых и богатых покровителей, чьей любовницей она была и с кем продолжала встречаться, однако предпочла не выходить замуж, чтобы сохранить полную свободу.

Она была высокой, пропорционально сложена, с шелковистыми шатеновыми волосами с золотым отливом, белой кожей и маленьким смешливым ртом. От ее победоносного, но отнюдь не высокомерного или вызывающего вида вокруг распространялся какой-то свет лучезарного

счастья, моде она не подчинялась, одевалась как ей вздумается, но всегда с отменным вкусом. Ослепительная красота и великолепная фигура госпожи Сабатье вызывали у всех художников желание заполучить ее в модели. В 1846 году по настоятельной просьбе Моссельмана она позировала Огюсту Клезенже, который сделал не только ее бюст, но еще и скульптуру под названием «Женщина, укушенная змеей». Она предстает со сведенным судорогой лицом, обнаженной грудью и пышными бедрами, змея была лишь предлогом, чтобы заставить изогнуться ее тело с округлыми формами, «как под воздействием эротического спазма, так и от боли», по едкому замечанию Камиля Моклера. Эти две вещи, выставленные в Салоне 1847 года, вызвали скандал.

С 1849 года госпожа Сабатье жила на пятом этаже дома по улице Фрошо, почти на углу площади Барьер-Монмартр, где она располагала апартаментами под самой крышей. По воскресеньям в шесть часов к ней приходили на ужин друзья, девять из десяти писатели, музыканты и художники. Обычно там бывали Теофиль Готье со своей подругой Эрнестой Гризи, Максим Дю Кан, Анри Монье, Огюст Клезенже, Жюль Барбе д'Оревильи, Эрнест Фейдо, Гюстав Флобер, когда наезжал в Париж, и его друг детства поэт Луи Буйе, марселец Эрнест Рейер, недавно приехавший в столицу, первая опера которого «Селам», поставленная в 1850 году, была основана на тексте Готье... Или еще Альфред де Мюссе, недавно ставший членом Французской академии...

У каждого там было свое прозвище: у Готье, например, — Тео или Слон, у его подруги — Индюшка; Барбе д'Оревильи — Коннетабль, Флобер — сир де Воффрилар, причем никто не знал как и почему ему был присвоен этот дворянский титул, Фейдо — то Великий Жук-могильщик, то Полковник Метафор или даже, что гораздо труднее произносимо — Набукудурисур, Моссельман — Мак-а-Руль, Буйе — Монсеньор, из-за его круглого живота... Что же касается самой госпожи Сабатье, то, ввиду важности занимаемого ею положения, вскоре она удостоилась завидного и почтительного прозвища Президентша.

Бодлер тоже был одним из самых частых посетителей этих собраний. Госпожу Сабатье он встречал в ту пору, когда жил в гостинице «Пимодан» и участвовал там в шумных празднествах, устраивавшихся Жозефом Фернаном Буассаром: однажды летом она была приглашена вместе со своей младшей сестрой Адель (ее все называли Малюткой) и подругой, когда они вышли после купаний в особняке «Ламбер», очень модного тогда заведения на острове Сен-Луи. И чем чаще Бодлер приходил на улицу Фрошо, тем больше завораживала его госпожа Сабатье.



У нее он пользовался репутацией человека, живущего рассудком, однако он умел быть сердцеедом, при надобности — чарующим сердцеедом, порой под хмурой маской лжеженоненавистника, и по характеру он был далеко не молчун. Впрочем, там беседовали обо всем — до ужина, во время ужина и после, — об искусстве, о литературе, о философии, об опере, о политике. Хозяйку дома не смущали никакие темы, даже самые вольные разговоры, грубые шутки, непристойные истории и сальности, одним словом, *свинство* — одна из слабостей Тео, то есть Слона.

Такого рода речи Бодлер, однако, остерегался вести. Если он вмешивался, то скорее, чтобы поведать какую-нибудь мрачную историю По, чтобы высказать какое-нибудь парадоксальное суждение, поделиться мнением, причем прямолинейно, с сарказмом. Со своими карими глазами, излучавшими пронзительный свет, с насмешливой складкой у рта, с дрожащим, словно от нервного тика, подбородком он казался очень уверенным в себе — уверенным в своем *отличии* от других. Что не всегда вызывало к нему симпатию со стороны прочих завсегдатаев улицы Фрошо.

Они нередко находили его невыносимым, тщеславным, чересчур претенциозным, если не смешным в той странной одежде, в которую он облачался с неодолимой потребностью не походить на других любой ценой. Некоторые из тех, кто помнил его с длинными, потом взъерошенными волосами, видели его теперь польсевшим с прядью волос, ниспадавшей на лоб, и порой у них появлялось странное ощущение, будто они имеют дело с человеком немолодым, хотя ему исполнился только тридцать один год...

И к тому же он был влюблен в Президентшу!

Правда, не он один, все, кто собирались за ее столом, так или иначе испытывали то же самое, но наверняка только он считал ее воплощением идеальной женщины, видел в ней ангела, мадонну, искупительницу.

Тем не менее объяснить он не решался. Слишком большая разница между ней и Жанной, между ней и теми девицами, в чьих объятиях он забывался столько раз...

Когда в сборнике Готье «Эмали и камеи» он обнаружил стихотворение «К розовому платью», ему пришла вдруг мысль последовать примеру «всесильного чародея французской литературы». И он быстренько сочинил стихотворное произведение в том же размере — восьмисложный катрен. С той разницей, что его стихи содержали девять слогов, на один больше. Он назвал их «Слишком веселой».

Твои черты, твой смех, твой взор  
Прекрасны, как пейзаж прекрасен.  
Когда невозмутимо ясен  
Весенний голубой простор.

Когда придет блудница-ночь  
И сладострастно вздрогнут гробы,  
Я к прелестям твоей особы  
Подкрасться в сумраке не прочь;

Так я врасплох тебя застану,  
Жестокий преподав урок,  
И нанесу я прямо в бок  
Тебе зияющую рану;

Как боль блаженная остра!  
Твоими новыми устами  
Завороженный, как мечтами,  
В них яд извергну мой, сестра!<sup>[38]</sup>

Бодлеру, однако, было страшно вручить это сладострастное стихотворение самой Президентше. Положив его в конверт и изменив почерк, 9 декабря 1852 года он без подписи отправил стихи вместе с запиской:

«Смирнейше умоляю ту, ради которой написаны эти стихи, понравятся ли они ей или нет, и даже если покажутся просто смешными, не показывать их *никому*. Глубокие чувства стыдливы и не терпят насилия над собой. Не является ли отсутствие подписи признаком именно такого неодолимого стыда? Тот, кто написал эти стихи в привычных своих мечтах о ней, любил ее с необыкновенной силой, никогда не признаваясь ей в этом, и *навсегда* сохранит к ней чувство самой нежной симпатии».

Наивная уловка? Возможно, трогательный поступок. Причем наверняка непонятный со стороны человека, который считает себя выше принятых правил и не стесняется демонстрировать глубокое презрение ко всем священным приличиям, навязанным имперским добропорядочным обществом. Если только этот поступок не отражал его идеализации женщины. Если только это не было проявлением крайней робости, которую она вызывала у него и которая обостряла преследующее его чувство вины

за свой сифилис. Какое несчастье, какое страшное бедствие быть заразным, «когда любишь в другом лишь чистоту!».

Самое забавное в этом, что в последовавшие за отправкой анонимного письма вместе со стихами «Слишком веселой» недели Бодлер с видом насмешливым и чуть ли не презрительным, как ни в чем не бывало, продолжал приходить на ужины Президентши.

Однако Президентша не обманывалась, она знала, кто на самом деле влюбленный автор, но притворялась, будто не знает. Изощренное женское кокетство — делать вид, что не знаешь. В глубине души она была в восторге.

## ИСПОВЕДЬ ДУШИ

В апреле 1853 года генерал Опик был назначен сенатором Империи и стал кавалером ордена Почетного легиона, вместе с госпожой Опик они поселились на улице Шерш-Миди. Теперь Бодлер снова регулярно встречался с матерью и умолял ее помочь ему, ибо его долги постоянно росли.

Один такой долг был связан с договором, который он заключил с Виктором Леку, издателем «Ревю де Пари», где в 1852 году появились очерки о По и статьи о «Ясновидцах» Нерваля. Этот договор касался тома, который должен был выйти под названием «Необыкновенные истории», в него входило несколько рассказов По.

После того как Бодлер передал эти переводы Леку, его одолели сомнения. Он считал, что его тексты не доведены еще до должного уровня, и пожелал доработать их. Узнав, что книга практически готова, он потребовал остановить ее печатание и пообещал возместить издателю типографские издержки. Однако таких денег у него не было, вот почему он обратился к матери...

Вместе с тем Бодлер по-прежнему непрерывно ищет в разных местах возможности для сотрудничества, дабы избавиться от постоянных финансовых проблем.

При этом он не всегда может соответствовать предложениям, которые ему делают. Так, он пообещал либретто Нестору Рокплану, директору «Оперы», но так и не смог выполнить своего обещания. Точно так же ему не удается взяться за драму, хотя он хвастает, что с легкостью может сочинить ее.

Зато Бодлер без малейшего труда написал текст, отчасти автобиографический, — «Мораль игрушки», который отдал в «Монд литтерер». Он превозносил игрушки, которые делают «жизнь в миниатюре более красочной, очищенной, сверкающей, чем жизнь реальная». «Там видишь, — отмечал он, — сады, театры, красивые туалеты, чистые, словно алмазы, глаза, покрасневшиеся от румян щеки, прелестные кружева, экипажи, конюшни, стойла, пьяниц, шарлатанов, банкиров, комедиантов, похожих на фейерверки шутов, кухни, весьма дисциплинированные армии с кавалерией и артиллерией».

Вместе с тем Бодлер по-прежнему был одержим Президентшей. 3 мая 1853 года из дома свиданий в Версале он посылает ей второе

стихотворение, но без сопроводительной записки. Довольно отвлеченно он назвал его «Возвратимость». На сей раз это пять строф александрийского стиха, каждая первая и последняя строка начинается и заканчивается словом «Ангел»: «Ангел радости», «Ангел кротости», «Ангел свежести», «Ангел прелести» и под конец «Ангел счастья, и радости, и света».

Меньше чем через неделю он продолжает в том же духе. У стихотворения, которое Бодлер посылает Президентше, нет названия, но подобно стиху «Слишком веселой» оно сопровождается письмом: «Право, мадам, прошу у Вас тысячу извинений за это глупое, ужасно ребяческое анонимное рифмоплетство; но что поделаешь? Я эгоист, как ребенок или как больные люди. Когда я страдаю, то думаю о тех, кого люблю. Обычно я думаю о Вас стихами, и когда стихи сложены, мне не удается устоять перед желанием показать их той, о ком они написаны... И вместе с тем я прячусь, как человек, который больше всего на свете боится выглядеть смешным. Нет ли в любви чего-то в высшей степени комического, в особенности для тех, кто не болен ею?»

В стихотворении Бодлер вспоминает одну ночь, на исходе которой после какого-то празднества он провожал Президентшу на улицу Фрошо, она опиралась на его руку, а Париж спал, и «лишь кошки робкие, как будто часовые, дозор на улицах несли».

О, бедный ангел мой, та нота горько пела:  
«Все на земле обман и ложь!  
И в задушевности, подделанной умело,  
Один расчет ты узнаешь.

На сцене выступать, красиво улыбаться —  
Тяжелый и банальный труд.  
А жизнь без жалости... С утра уже толпятся  
Ростовщики — проценты ждут.

И нет совсем любви! Есть звук красивый, слово!  
Есть бессердечия гранит!  
Мы — каждый за себя! Нет ничего святого!  
Продажен мир, юдоль обид!»

Смогу ли я забыть то страшное признание,  
Всю эту исповедь души,  
Огромную луну, и двух теней дрожанье,

И гул шагов в ночной тиши?<sup>[39]</sup>

Естественно, Президентша и на этот раз, как при получении двух предшествующих посланий, не обманывалась, тем более что эта исповедь соответствовала пережитой ситуации. И это ее забавляло. Впрочем, она не была безразлична к этому сумрачному, резкому человеку. С тех пор как она узнала его, ей стало ясно, что «бесстыдная и шумная» жизнь, которую он ведет, скрывает восторженную душу. К тому же на каждом ужине, который Президентша устраивала в своих апартаментах, она видела: он совсем не той породы, что другие гости. Только Тео тоже присылал ей послания, даже когда путешествовал, по России или где-то еще, но не прячась и не в столь отточенном стиле. Тео называл ее то «дорогой Президентшей», то «дорогой Лили», то «Президентшей моего сердца» или «дорогой царицей Савской»; он непрестанно повторял, что целует ее ногу, подмышку или «вагинальную железку», и между двумя жестокими словами в адрес некоторых из своих братьев говорил о «неприглядных вымученных развлечениях» и «одиноких вечерах мастурбации».

Все осложнялось еще тем, что Жанна Дюваль заболела и требовала присутствия Бодлера. Она тоже оказалась без средств и к тому же должна была заботиться о своей старой умирающей матери. Когда та 16 ноября умерла, Бодлер вынужден был взять на себя похоронные расходы.

Не имея денег, он пишет отчаянное письмо Огюсту Пуле-Маласси, взявшему в свои руки семейное типографское дело в Алансоне, и молит его о помощи. «Любую сумму, — просит он, — ибо о *крупной* наверняка не может быть и речи». «Мне попросту необходимы несколько дней передышки, чтобы воспользоваться ими для завершения важных вещей, которые дадут положительный результат в следующем месяце». А потом признается, что его жизнь, его несчастная жизнь, увы, всегда будет исполнена негодования, смерти, оскорблений и, главное, недовольства собой.

Под «важными вещами» он разумел продолжение переводов По и создание по меньшей мере трех комедий.

## НО КАК ИЗ ЭТОГО ВЫЙТИ?

Что касается комедии, то с недавних пор Бодлер связался с Ипполитом Тиссераном, безусловно, самым знаменитым актером театра «Одеон» в 1850-е годы. По-прежнему убежденный в том, что написать пьесу — это детская игра, он берется создать для него драму в пяти актах, «замешанную на мечтаниях, лености, нищете, пьянстве и убийстве». Он быстро набрасывает план пьесы под названием «Пьяница» отчасти в духе рассказов По «Бес противоречия» и «Сердце-обличитель» — это история одного рабочего, который убивает свою жену, бросает ее тело на дно колодца и закладывает его камнями. «Никакой запутанной интриги, никаких неожиданностей, — говорит он Тиссерану. — Просто развитие порока от ситуации к ситуации».

Тем не менее, вместо того чтобы выполнять взятые на себя обязательства, он снова берется за перевод рассказов своего писателя-идола и опять посылает анонимные стихи Президентше. В феврале 1854 года один за другим он адресует ей первый сонет «Духовная заря» с коротенькой запиской на английском языке, затем второй вот с такой первой строчкой: «Что можешь ты сказать, мой дух, всегда ненастный».

В письме, сопровождавшем второй сонет, он писал, что не ведает, какие мысли вызывает у женщин поклонение, которым их окружают. Затем чистосердечно признается своей корреспондентке: «Не знаю, дарована ли мне будет когда-нибудь высшая радость самому рассказать о той власти, какую Вы обрели надо мной, и немеркнувшей лучезарности, которой Ваш образ озаряет мою душу. В настоящий момент я просто счастлив снова поклясться Вам, что никогда любовь не была более бескорыстной, более возвышенной и исполненной почтения, чем та, которую я втайне питаю к Вам и которую всегда буду старательно скрывать, как повелевает мне это нежное почитание».

На этом Бодлер не останавливается. 8 мая он снова берется за перо и отправляет Президентше самое длинное письмо из тех, что написал ей до сих пор. Он признается, что боится ее, что это единственная причина, заставлявшая его все время скрывать свое имя, что он относится к ней с почти благоговейным пылом и что она присутствует во всех его мечтаниях — в особенности когда его душа погружается во мрак природной злобы и глупости.

«Вы для меня, — писал он, — не только самая привлекательная из

женщин, из всех женщин, но и самое дорогое, самое бесценное суеверие. Я — эгоист и пользуюсь Вами. Прилагаю свою жалкую бумажонку. Как был бы я счастлив, если бы мог надеяться, что мое высокое понимание любви имеет хоть какой-то шанс быть благожелательно воспринято в тайном уголке Вашей очаровательной головки. Я никогда об этом не узнаю». Затем, в качестве *жалкой бумажонки*, следует гимн в пять строф, который, по его словам, он «сочинил давным-давно».

Тебе, прекрасная, что ныне  
Мне в сердце излучаешь свет,  
Бессмертной навсегда святыне  
Я шлю бессмертный свой привет.

Ты жизнь обвеяла волною,  
Как соли едкий аромат;  
Мой дух, насыщенный тобою,  
Вновь жаждой вечности объят.

Саше, что в тайнике сокрытом  
С уютным запахом своим,  
Ты — вздох кадилъницы забытой,  
Во мгле ночей струящей дым.

Скажи, как лик любви нетленной  
Не исказив, отпечатлеть,  
Чтоб вечно в бездне сокровенной  
Могла бы ты, как мускус, тлеть.

Тебе, прекрасная, что ныне  
Мне в сердце льешь здоровый свет,  
Бессмертной навсегда святыне  
Я шлю бессмертный свой привет!<sup>[40]</sup>

Ангел, бессмертная святыня, бессмертие, вечность, вечная жизнь... Вещь поразительная, но Бодлер все более обожествляет Президентшу. До такой степени, что своему пылу он приписывает нечто бесплотное. Словно эта любовь, чтобы стать большой любовью, любовью истинной и чистой, любовью неугасимой, *нетленной*, могла быть только божественной или



платонической.

Считая госпожу Сабатье воплощением своего любовного идеала, он между тем продолжает встречаться с другими женщинами, адреса которых заносит в свои блокноты. И в их числе значится актриса Мари Добрен, с которой у него была короткая связь семь лет назад, в ту пору, когда в театре «Порт-Сен-Мартен» она играла пьесу братьев Коньяр «Золотоволосая девушка».

Мари Добрен, красивая блондинка с лицом мадонны, успешно продолжила свою карьеру. Среди прочего она сыграла в сатирической комедии «Невероятная история Аристофана», написанной Банвилем и Филоксеном Буайе, весьма образованным, но взбалмошным молодым человеком, который очень нравился Бодлеру. Теперь она работала в театре «Гэте», где появлялась в одной из многочисленных мелодрам Луи Вандербюрга «Арденнский кабан». Это и послужило поводом для новой встречи бывших любовников. Опять воспылав друг к другу любовью, они задавались вопросом, зачем им было расставаться. Бодлер старается найти для нее главные роли и просит за Мари Добрен сначала Теофиля Готье, который прекрасно осведомлен обо всем, что происходит и что затевается в мире парижского театра, затем Поля де Сен-Виктора, театрального критика газеты «Пэи», но безуспешно.

Основанная Ламартином и принадлежавшая одному банкиру, «Пэи» с подзаголовком «Газета Империи» была как раз тем изданием, где с июля начала печататься серия переводов рассказов По, к которым Бодлер относился так, словно речь шла о его собственном творчестве. Или, быть может, даже о его спасении.

Разумеется, он не мог жаловаться: ему перепало немного денег, тех самых денег, которых всегда не хватало и которые всегда уплывали куда-то из рук, к тому же он работал в редакции, собравшей нескольких талантливых авторов. Среди них — Барбе д'Ореви́льи, которого Бодлер более всего ценит и чья книга «О дендизме и Дж. Броммеле» произвела на него десять лет назад очень сильное впечатление; к тому же Барбе д'Ореви́льи — один из завсегдаев на улице Фрошо за столом у Президентши. Если Бодлер ощущает свою близость к нему, то еще и потому, что знает его как большого почитателя и неутомимого защитника произведений Жозефа де Местра.

То, что Бодлер получает за свои переводы, не позволяет ему, однако, при том образе жизни, какой он ведет, сводить концы с концами. Прожив семнадцать месяцев на улице Пигаль, он снимает комнату в гостинице «Марокко» на улице Сены. Но, едва расположившись в своем новом

жилище, он задался вопросом — а не лучше ли для него будет согласиться на «совместную жизнь»? Он пишет своей матери. «Мне во что бы то ни стало нужна семья, — признается он ей. — Это единственная возможность работать и тратить меньше».

Бодлер думает о Мари Добрен. Ему нравится перспектива семейной жизни с ней.

## БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Но что мешало Бодлеру жить с Мари Добрен? Преследующий его призрак Жанны? Поклонение Президентше? Оба эти обстоятельства вместе?

А разве он не был человеком нерешительным, колеблющимся, неуверенным? Человеком непоследовательным? Человеком глубоко, неискоренимо противоречивым, особенно в своих поступках в повседневной жизни?

В течение первого триместра 1855 года только за один месяц он шесть раз меняет гостиницу и переезжает из какой-нибудь скверной комнаты в скромное жилище, желая вместе с тем отыскать подходящую квартиру, которую можно было бы меблировать самому и убранство которой в точности отвечало бы его стремлениям и вкусам. Мечтая иметь при себе повара и слугу...

Но с чего он взял, что Мари Добрен хочет поселиться под одной с ним крышей? У нее тоже нелегкий характер, не говоря о том, что ей нет еще тридцати и она в первую очередь думает о своей карьере. Кроме того, ей постоянно приходится заботиться о своих родителях, живущих в нужде.

В то время как «Пэи» продолжала печатать рассказы По (десять из них один за другим вышли в свет с 3 февраля по 7 марта), Бодлер предложил редакции газеты серию из трех критических статей о Всемирной выставке, открывшейся в мае в Новом дворце искусств на авеню Монтень. Из них принята была только первая: очерк о современном понимании прогресса применительно к живописи и скульптуре. Ну или по крайней мере о понимании прогресса самим Бодлером.

«Существует одно расхожее заблуждение, которого я боюсь как огня. Я имею в виду идею прогресса. Это изобретение нынешней ложной философии запатентовано без гарантии со стороны Природы или Божества, этот новомодный фонарь лишь изливает мрак на все области познания; утрачивается свобода, исчезает возмездие. Тот, кто действительно хочет разобраться в истории, должен прежде всего потушить этот коварный фонарь. Нелепая идея прогресса, расцветшая на гнилой почве нынешнего самодовольства, сняла с каждого бремя долга, избавила души от ответственности, освободила волю от всех уз, которые накладывала на

нее любовь к прекрасному: и если это удручающее безумие продлится еще долго, оскудевшие народы, убаюканные подушкой фатализма, погрузятся в бездумную дремоту одряхления. Такое самодовольство является признаком уже вполне зримого упадка», — писал Бодлер.

Две другие статьи были посвящены Энгру и Делакруа. Хотя в «Пэи» их не приняли, Бодлер не сильно огорчился, настолько он был воодушевлен появлением всего несколькими днями позже в добром старом и почтенном «Ревю де Дё Монд» восемнадцати своих стихотворений, предварявшихся, правда, осторожным примечанием редакции, дававшим понять, что речь идет о рискованных текстах. Стихи были опубликованы под еще неизвестным названием — «Цветы зла», предложенным Ипполитом Бабу. С этим тридцатилетним романистом и критиком Бодлер познакомился в «Корсэр-Сатан». С тех пор у них вошло в привычку встречаться иногда в кафе «Диван Лепелетье», где Нервалю, увы, никогда уже не суждено было появиться: в конце января его обнаружили повесившимся на окне на улице Вьей-Лантерн. Именно в журнале «Монд литтерер», основанном Бабу в 1853 году, Бодлер опубликовал два текста: маленький очерк «Мораль игрушки» и перевод По «Философия обстановки».

На этот раз ему уже нет надобности править и бесконечно переделывать свои стихи, в том числе и те, что были напечатаны за целое десятилетие в разных изданиях. Однако он никак не может решить, какому издателю предложить их. Огюсту Пуле-Маласси? Виктору Леку? Мишелю Леви, которому Нерваль доверил последние свои произведения и который выкупил у своего коллеги Д. Жиро сборник новелл «Дочери огня»?

А почему не Луи Ашетту? Он свой в университетской среде и в то же время с 1852 года владеет новой сетью привокзальных книжных и газетных киосков. Кроме того, он только что выпустил «Фонтенбло», коллективную работу, в которой принимали участие Бодлер, Нерваль, Банвиль, Асселино и Беранже, по-прежнему находившийся на вершине славы, хотя уже двадцать лет не выпускавший больше книг.

В конце концов Бодлер начал переговоры с Мишелем Леви, тем более что тот еще в 1846 году сообщал о «скором» выходе «Лесбиянок», а в 1848-м — о столь же «скором» выходе сборника «Лимбы». Но вместо того, чтобы договориться теперь уже о «Цветах зла», оба они обсуждают рассказы По, и 3 августа Бодлер продает Мишелю Леви свой перевод «Необыкновенных историй» и «Новых необыкновенных историй». В контракте предусматривалось, что переводчик получит вознаграждение в размере двенадцатой доли от продажной цены книг при исходном тираже в шесть тысяч шестьсот экземпляров — это было много.

В то время он занимал комнату в гостинице «Нормандия» на улице Нёвде-Бонз-Анфан, как раз там, где *бедняга* Нерваль прожил последние месяцы своего трагического и мучительного существования. Бодлер знал — это временный адрес; он по-прежнему искал квартиру, где поселится, предпочтительно с Мари Добрен. Но случилось так, что Мари неожиданно ушла из театра «Гэте», где у нее был ангажемент, и уехала с одной труппой в турне по Италии.

В надежде, что она вскоре вернется во Францию, Бодлер отправил пылкое рекомендательное письмо Жорж Санд. Правда, не без доли иронии, ибо в постскриптуме Бодлер писал, что, рискуя вызвать неудовольствие романистки и прослыть бесцеремонным, он задавался вопросом, как ее следует называть: госпожой Санд, госпожой Дюдеван или же госпожой баронессой Дюдеван... Бодлер говорил себе, что если знаменитая писательница сможет поспособствовать его любовнице и найдет ей применение в каком-нибудь парижском театре, то они с Мари действительно смогут *начать совместную жизнь*...

На несколько недель Бодлер возвращается в меблированную комнату на улице Сены, где находилась гостиница «Марокко», одно из его предыдущих пристанищ, затем в конце концов находит квартиру — совсем пустую квартиру — на улице Ангулем-дю-Тампль, в районе бульвара Тампль, где теснятся мелкие ремесленники: точильщики, жестянщики, клейщики фарфора, портные, торговцы трубками... Чтобы иметь возможность выплачивать требуемую владельцем квартиры сумму, Бодлер снова взывает к госпоже Опик. С начала года та вместе с мужем чаще всего проживала в доме, который они построили на высокой скале в Онфлёре. Она, естественно, сказала об этом Анселю. И благодаря его неожиданной поддержке согласилась пожаловать сыну аванс.

## ЭДГАР ПО ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

Вопреки ожиданиям, Бодлер не был удовлетворен новым жилищем на улице Ангулем-дю-Тампль. Тем более что Мари Добрен не пожелала поселиться вместе с ним. И он со своей стороны возобновил совместную жизнь с Жанной Дюваль. В присутствии посторонних, опасаясь смутить их, он называл ее «женой».

Картина мира, развитие существующих воззрений все сильнее раздражают его, и большая часть книг, которые ему попадают, вызывает у него двойное чувство усталости и отвращения. Он во весь голос заявляет об этом Альфонсу Туссенелю, одному из ревностных последователей Фурье, обратившемуся к изучению животных после того, как этот последний подарил ему одну из своих книг о животных и птицах.

На его взгляд, пишет ему Бодлер в январе 1856 года, воображение — самая «научная» из способностей, ибо только оно заключает в себе «универсальную аналогию, или то, что мистическая религия называет *соответствием*. Однако если я хочу напечатать подобные вещи, мне говорят, что я безумен, а главное — без ума от себя самого, и что педантов я ненавижу лишь потому, что мне не хватает образования». И опять, как в своей статье о Всемирной выставке, он набрасывается на прогресс и цитирует Жозефа де Местра, «великого гения нашего времени, ясновидца». А затем утверждает:

«Все лжеучения, о которых я упоминал только что, в конечном счете являются лишь последствием главного современного лжеучения, *искусственной* теории, подменившей естественную теорию, — я имею в виду упразднение понятия *первородного греха* <...> вся природа принимает участие в первородном грехе».

К счастью, выход в марте у Мишеля Леви «Необыкновенных историй» Эдгара По приносит ему немного радости.

Во что бы то ни стало желая защитить и возвеличить вышедший том, Бодлер без колебаний обращается непосредственно к Сент-Бёву, самому значительному и прозорливому из литературных критиков, особенно прославившемуся своими «Беседами по понедельникам», опубликованными в «Монитор юниверсель». Необходимо, говорит он ему, чтобы По, который не является «большой величиной» в Америке, стал «великим человеком» для Франции, и Бодлер не сомневается, что Сент-Бёв с тем особым влиянием, каким он пользуется, скажет об этом в ближайших

статьях свое веское хвалебное слово.

Однако радость Бодлера была недолгой. Отношения с Жанной оставались все такими же бурными, к тому же он узнал, что Мари, вернувшись из итальянского турне, возобновила свои отношения с Банвилем — эти *потрясения* мешали ему сосредоточиться на переводах рассказов По, которыми он был занят и которые должны были составить основу «Новых необыкновенных историй», эту рукопись Мишель Леви ожидал с нетерпением.

В досаде Бодлер покидает свое жилище на улице Ангулем-дю-Тампль, которое едва успел обустроить, и снова погружается в сомнительный мир меблированных комнат. Он поселился в гостинице «Вольтер» на набережной с таким же названием. Но уже без Жанны, с которой он, потеряв терпение, опять разорвал отношения.

Ему казалось, что он избавился от чего-то тягостного, будто вышел из застенка и вновь обретает вкус к жизни. В своих заметках, которые являлись и дневником, и памяткой, и записной книжкой, и черновиками, он писал, что «склонность к плодотворной сосредоточенности должна заменить у зрелого человека склонность к потерям». Он старался подстегнуть себя, чтобы вновь обрести работоспособность.

Осенью 1856 года к Мишелю Леви на улицу Вивьенн он отправился, можно сказать, в превосходном настроении. Бодлер заверил его, что перевод «Новых необыкновенных историй» завершается и что он уже готов взяться за перевод «Приключений Артура Гордона Пима». Договор на эту книгу вскоре был подписан, хотя права переводчика были урезаны до пятнадцатой доли от продажной цены каждого тома. И словно в наказание за задержку, Мишель Леви решил заплатить Бодлеру деньги за роман По только после выхода «Новых историй».

Ну а что же с «Цветами зла»?

Совершенно очевидно, что Мишель Леви уже перестал их ждать. Впрочем, в большом ассортименте его продукции поэтических сборников было очень мало. Став преуспевающим издателем, он печатал их гораздо реже, чем раньше.

Однажды в порыве гнева Бодлер похвастался, что в любом случае может рассчитывать на Огюста Пуле-Маласси. И Мишель Леви поспешил поймать его на слове.

В конце 1856 года Пуле-Маласси, объединившийся со своим родственником Эженом Де Брузом, по-прежнему издавал «Журналь д'Алансон», а также брошюры, однако у него было твердое намерение

публиковать больше книг и получить место в Париже, где можно будет успешнее сбывать свою продукцию. Он установил тесные отношения с Асселино, который в какой-то мере играл у него роль литературного советника, хотя благодаря своему хорошему чутью и эрудиции и сам мог бы с этим справиться.

Когда Бодлер вступил в переговоры с Пуле-Маласси по поводу «Цветов зла», он не знал, что тот уже договорился с Банвилем, ставшим теперь соперником Бодлера, по поводу сборника под названием «Причудливые оды».

Тридцатого декабря Бодлер поставил свою подпись на договоре, предусматривавшем издание двух томов у Пуле-Маласси и Де Бруаза, не только «Цветов зла», но и книги его статей под условным названием «Эстетический хлам». Предполагавшийся тираж — тысяча экземпляров. В шесть раз меньше, чем тираж «Необыкновенных историй», продажа которых в книжном магазине шла очень успешно. По прошествии трех месяцев Мишель Леви уже переиздал их, не исправив ни опечаток, ни ошибок. Не говоря уже об искажении смысла и мелких погрешностях Бодлера.



## НЕГОДЯЙ, НЕВЕЖДА

Подписав договор на «Цветы зла», Бодлер тщательно проверяет стихи, написанные им за пятнадцать лет, затем в феврале 1857 года отправляет их в Алансон Пуле-Маласси. Перспектива увидеть их наконец собранными под одной обложкой занимает все его помыслы. Он подумал, что хорошо бы, если бы некоторые из них можно было напечатать в журнале незадолго или перед самым выходом сборника, как это вошло в обычай с романами, делившимися на части и публиковавшимися в газетах и периодических изданиях изо дня в день, неделя за неделей. Впрочем, его перевод «Приключений Артура Гордона Пима» вот-вот должен был появиться в «Монитёр юниверсель», и вместе с тем Мишель Леви готовился пустить в продажу «Новые необыкновенные истории». Начальный тираж: шесть тысяч шестьсот экземпляров. Как и в случае «Необыкновенных историй».

Без промедления Бодлер обращается в «Ревю франсез», которым руководит лионский эрудит Жан Морель и который с литературной и политической точки зрения является противоположностью «Ревю де Дё Монд», где в июне 1855 года были опубликованы восемнадцать стихов из «Цветов зла». С его стороны это был своего рода вызов, бравада и легкомыслие. Но в то же время небескорыстный и разумный поступок, ибо в апрельский номер «Ревю франсез» вошли девять стихотворений из сборника, который готовил Пуле-Маласси.

Бодлер внимательно наблюдает за издателем и своей книгой. Он проявляет редкую придирчивость, придавая огромное значение композиции и верстке своих текстов, выверяя каждое слово, следя, чтобы курсивы и тире, которые ему так нравятся, были хорошо пропечатаны и чтобы порядок стихов, которым он дорожит, неукоснительно соблюдался. Он знал, что выведет Пуле-Маласси из себя, но полагал, что имеет на это право.

Точно так же он считал себя вправе критиковать его. Он считал, что каталог Пуле-Маласси содержит имена авторов, совсем не заслуживающих внимания, и что «все будут смеяться» над издателем, который не заботится о тщательной классификации званий. И чтобы Пуле-Маласси не ронял себя ни в чьих глазах, предлагал ему распределить их по категориям, по тем категориям, какие он сам ему указывал, словно поучая его: экономисты, философы-рационалисты, ясновидцы, масонство, оккультные науки, забавные шутки и диковинки, романисты, путешественники (категория,

которую он считал основной).

В своих многочисленных письмах к издателю Бодлер говорил, что не понимает, почему такой человек, как он, человек, который так любит XVIII век, создает о нем столь жалкое представление.

«Я, кто является безусловным образчиком негодяя и невежды, я бы предложил Вам блестящий каталог с помощью одних воспоминаний о своем чтении того времени, когда читал XVIII век.»

Затем он советовал ему переиздать «Опасные связи» Шодерло де Лакло, «Инки» Жана Франсуа Мармонтеля и «Персидские письма» Монтескье.

Его эпистолярная дискуссия с алансонским издателем находилась в самом разгаре, когда 28 апреля у себя дома на улице Шерш-Миди в возрасте шестидесяти восьми лет умер генерал Жак Опик. Бодлер ничуть не удивился, не обнаружив своего имени в уведомительных письмах, извещавших о похоронах.

По сему случаю он с величайшим неудовольствием встретился с Жаном Луи Эмоном, одним из участников семейного собрания в 1844 году, потребовавшего назначения для него опекунского совета. Однако Бодлеру казалось, что его отношения с матерью наверняка примут теперь иной оборот, хотя они и без того уже улучшились после ее возвращения из Мадрида. Отныне, думал он, только на нем, на нем одном, лежит забота о ее счастье. И ему не следовало уклоняться от своего долга по той причине, что мать собиралась вскоре удалиться в свой дом на нормандском побережье.

За несколько дней до этого «Артист», одним из руководителей которого с 1852 года был Эдуар Уссе, брат Арсена Уссе, опубликовал три стихотворения из «Цветов зла», сообщив о скором появлении сборника в продаже.

Бодлер был в восторге: чем больше ссылок, прямых или косвенных, на его книгу, тем большую пользу они ему принесут. Он уже хорошо понимал, сколь важна пресс-служба, поэтому предоставил Пуле-Маласси и Де Бруазу список тщательно отобранных имен. Во главе Бодлер поставил Теофиля Готье по весьма простой и основательной причине: именно ему он посвятил «Цветы зла». Далее следовали Сент-Бёв, который так ни слова и не сказал о рассказах По ни в своих «Беседах по понедельникам», ни где-либо еще, Шарль Асселино и, разумеется, Жюль Барбе д'Ореви́льи, Луи Вейо, католический писатель, с которым он познакомился в ту пору, когда был связан с группой Надара и знал цену его грозному перу, Леконт де Лиль, превосходный, по словам д'Ореви́льи, человек ума и таланта критик

Филарет Шаль... И еще министр общественного образования, который в июне пожаловал Бодлеру вознаграждение за перевод «Необыкновенных историй».

В список были включены также англосаксонские писатели, такие как Генри Лонгфелло, Роберт Браунинг, Альфред Теннисон и Томас Де Куинси, чья «Исповедь англичанина-опиомана», одна из библий романтизма, произвела сильное впечатление на Бодлера и вдохновила его в 1851 году написать статьи о наркотиках.

Последним значилось имя самого прославленного человека: Виктора Гюго.

## НАКОНЕЦ ДИТЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ

Двадцать пятого июня 1857 года «Цветы зла» поступили в продажу у парижского представителя Пуле-Маласси и Де Бруаза в книжном магазине (католическом!), расположенном в доме 4 по улице Бюси.

Вошедшие в сборник стихи Бодлер выносил в самых глубоких тайниках своей души, одни с яростью, другие с величайшим терпением, он напитал их собственной кровью, плотью и потом. Каждый из них — это подлинная исповедь, как у Жана Жака Руссо.

Только они были разделены на множество коротких отрезков (сонеты в том числе) и зарифмованы. Они говорили о страхе существовать и жить, взывали то к Богу, то к Сатане, к Христу или Каину, славили восторг и сладострастие, упоение плоти и ее бесконечные муки. И все это чаще всего откровенно, без прикрас, без тени обмана.

После знакомства с «Цветами зла» у друзей и близких Бодлера возникло ощущение, что они прочитали автобиографическое произведение. Его творца они обнаруживали на каждой странице, чуть ли не в каждой строфе: его сплин, его страсть к блужданию и одиночеству среди толп, его мольбы, его проклятия, его парадоксы, его *пугающую* прозорливость. Они понимали, что тут речь шла о Жанне Дюваль, там — о Мари Добрен, дальше — о Саре Косенькой, а затем — о *божественной* Президентше. За этими пламенными рифмами невозможно было представить себе какого-либо другого писателя, несмотря на все влияние и реминисценции — будь то Виктор Гюго, Теофиль Готье или Сент-Бёв в формулировках и речевых оборотах, либо Жозеф де Местр, Томас Де Куинси, Петрюс Борель или Эдгар По в идеях... И все они, или почти все, были единомышленны в своей оценке сборника, признавая необычайный талант его автора.

Но вот 5 июля «Фигаро» публикует статью, какой Бодлер не ожидал. Под довольно коротенькой заметкой стоит подпись Гюстава Бурдэна, зятя руководителя газеты. Уверяя, что он не собирается выносить ни суждения, ни приговора, этот Бурдэн, однако, резко изобличает безнравственность четырех стихотворений. С его точки зрения, ничто не может оправдать столь безудержного нагромождения «подобных уродств», разве что тот, кто написал их, не в своем уме. «Гнусное, — замечает Бурдэн, — соседствует там с непотребством, а отвратительное — с мерзким».

Через два дня в Главное управление общественной безопасности поступил доклад, утверждавший, что тринадцать стихотворений, а не

четыре, из «Цветов зла» содержат «вызов законам, охраняющим религию и мораль», и «восхваление самой отталкивающей похотливости». И сразу же дело было направлено генеральному прокурору.

Обеспокоенный Бодлер обратился к Пуле-Маласси и Де Бруазу с просьбой надежно спрятать весь тираж его сборника — около девятисот экземпляров, еще не поступивших в продажу. На основании распространившихся слухов он полагал, что существует большой риск конфискации. Такой риск еще более усилился после новой статьи в «Фигаро» от 12 июля за подписью некоего Ж. Абана. На этот раз речь шла об «ужасах бесстыдно выставленной напоказ трупной свалки», о «скоплениях нечистот, в которых копаются, засучив рукава, обеими руками», тогда как им надлежит гнить где-нибудь в укромном месте...

Это было уже слишком, и через четыре дня генеральный прокурор потребовал конфискации книги и возбуждения дела против автора и его издателей. Узнав эту скверную новость, Бодлер обратился к Ашилю Фульду, государственному министру императорского дома. Он заявил, что вовсе не чувствует себя виновным. «Напротив, я горжусь тем, что написал книгу, наполненную ужасом и отвращением перед Злом. И стало быть, сам я отказался прибегать к подобному средству. Если потребуется защищаться, я сумею защитить себя достойным образом».

Бодлер нашел адвоката, известного адвоката — Ше д'Эст-Анжа. Он признался, что не понимает, почему ему ставят в вину только тринадцать стихотворений из ста, которые вошли в сборник. Такую «снисходительность» он считал пагубной. «Книгу, — говорил Бодлер, — должны оценивать *всю целиком*, только тогда станет ясен ее нравственный смысл. <...> Единственная моя вина в том, что я рассчитывал на всеобщее понимание и не предпослал предисловия, где провозгласил бы свои литературные принципы и выделил бы столь важный вопрос Морали».

Но кто из писателей смог бы выступить в его защиту?

Бодлер подумал о Готье, который был вхож практически всюду и имел связи в высоких сферах, и о Барбе д'Оревилю, чьи статьи в газете «Пэи» пользовались большим успехом. Думал он и о Проспере Мериме, но скорее не потому, что это знаменитый писатель, а потому, что он единственный литератор в сенате. И конечно, о Сент-Бёве, которого называл обычно своим покровителем и с которым уже несколько лет вел переписку. К тому же Сент-Бёв считал, что некоторые из инкриминируемых стихов — лучшие в сборнике.

Возможно, следовало бы, кроме того, рассчитывать на какую-нибудь женщину... Бодлер сразу вспомнил о *своей* Президентше.

Восемнадцатого августа, за два дня до вынесения судебного решения, он посылает госпоже Сабатье письмо, но уже не изменяя почерка и под своим именем.

«Уважаемая мадам,

Надеюсь, Вы ни единой минуты не думали, что я мог Вас забыть.

Я впервые пишу Вам своим настоящим почерком. Если бы я не был так занят делами и написанием писем (суд — послезавтра), я воспользовался бы этой возможностью, чтобы попросить у Вас прощения за столько безумных глупостей и за ребячество. Но разве Вы недостаточно отомщены с помощью Вашей младшей сестры? Ах, маленькое чудовище! Я буквально оцепенел, когда, встретив меня однажды, она рассмеялась мне в лицо, сказав: „Вы по-прежнему влюблены в мою сестру и все еще пишете ей такие прекрасные письма?“ Прежде всего я понял, что, желая спрятаться, я прятался очень плохо, и еще, что под маской Вашего прелестного лица скрывается далеко не милосердный ум. Влюбляются повесы, а поэты — это *идолопоклонники*, и Ваша сестра, думается, вряд ли способна понять вечные вещи».

В этом письме он упоминает своих судей, «омерзительно безобразных», чудовищ вроде заместителя императорского прокурора, грозного Эрнеста Пинара. Затем вспоминает Флобера, который в феврале того же года, представ перед тем же судилищем и тем же судьей, был оправдан, хотя подвергался преследованию за роман «Госпожа Бовари». «За Флобера вступилась императрица. Мне не хватает женщины. И несколько дней назад мною вдруг овладела *странная* мысль, что, быть может, Вы могли бы, используя свои связи, какими-нибудь сложными путями направить разумное слово кому-то из этих тупиц».

Поставив свою подпись — Шарль Бодлер, он добавил: «Все стихи со страницы 84 по страницу 105 принадлежат Вам».

Среди этих стихов фигурирует стихотворение «Слишком веселой» — по сути окончательное название стихотворения «Слишком веселой женщине», первого из всех, отправленных Бодлером Президентше более четырех с половиной лет назад. И по иронии судьбы, это одно из тех, которые прокуратура сочла наносящими ущерб общественной нравственности.

## ДВОЙНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Заседание 6-й палаты по уголовным делам, перед которой предстал Бодлер, состоялось 20 августа 1857 года. Не сомневаясь в своих искренних и добрых намерениях, он надеялся, что процесс закончится прекращением дела. Он даже чувствовал себя очень уверенно, когда Эрнест Пинар, который был всего на год моложе его, начал свою обвинительную речь. Опасаясь недвусмысленных нападок, громких слов, тенденциозных оценок, крючкотворства, он был очень удивлен сдержанным тоном «грозного» заместителя императорского прокурора.

В своих высказываниях Пинар действительно старался соблюдать приличия, хотя представление об оскорблении общественной и религиозной морали в значительной степени зависело от его собственного толкования этого понятия. По его мнению, как он ясно выразился, Бодлер провинился, написав бесстыдные, противоречащие общепринятым нравам стихи. При этом он пространно цитировал различные пассажи из книги, которые считал непристойными и пагубными, в частности, отрывки из знаменитого стихотворения «Слишком веселой», последняя недвусмысленная строка которого — «В них яд извергну мой, сестра!» — казалась ему недопустимой.

Впрочем, он не собирался целиком осудить «Цветы зла», а хотел лишь изъять из книги некоторые стихи. «Окажите противодействие, — обратился он к судьям, <...> той нездоровой лихорадке, которая стремится все обрисовать, все описать, все сказать, словно наказание за нарушение общественной морали отменено, и словно самой этой морали не существует». Но вместе с тем он просил судей быть снисходительными к Бодлеру, «человеку по природе своей беспокойному и неуравновешенному». По сути, слова чиновника явно определялись разладом между его совестью и долгом.

У Ше д'Эст Анжа таких сомнений, искренних или притворных, не было. Защитную речь, произнесенную им без особой убежденности, он превратил в своего рода лекцию, посвященную чересчур смелой, вызывающей литературе. Или, точнее, сделал беглый обзор авторов, которые до Бодлера писали в своих произведениях о зле и пороке. Он привел имена Данте, Мольера, Лафонтена, Вольтера, Бальзака, Мюссе, Беранже (который умер в июле), Готье (и его роман «Мадемуазель де Мопен»), Санд... Назвал он также и Ламартина с его стихотворением

«Отчаяние», которое никто, по его словам, не сочтет оскорблением религиозной морали. В своем перечне не забыл он и о Барбе д'Оревилли. Однако в данном случае ссылаясь исключительно на хвалебную статью, которую католический писатель посвятил «Цветам зла» и которая должна была появиться в «Пэи», ее текст он предоставил в распоряжение судей в виде брошюры, подготовленной Бодлером.

Словом, стратегия господина Ше д'Эст Анжа строилась на довольно простом, а вернее, упрощенном постулате, но без солидного юридического обоснования: раз все эти авторы, призванные на помощь, не были осуждены судом за безнравственность, нет никакой причины наказывать Бодлера.

Приговор был вынесен в тот же день.

«Мотивировка судебного постановления: ошибка — в цели, которой он хотел достичь, и на пути, которым он следовал. К каким бы стилевым приемам он ни прибегал, какое бы порицание ни предшествовало или ни последовало за его изображениями, это не может сгладить пагубное воздействие представленных им читателю картин, которые в инкриминированных произведениях неизбежно ведут к возбуждению чувств путем грубого, оскорбительного для целомудрия реализма».

На основании этого суд постановил изъять из сборника «Цветы зла» шесть стихов: «Слишком веселой», «Украшения», «Лету», «Лесбос», «Метаморфозы вампира» и длинное стихотворение, начинавшееся словами «При бледном свете...». Кроме того, Бодлера приговорили к штрафу в триста франков, а двух издателей, Пуле-Маласси и Де Бруаза, к штрафу в сто франков каждого.

По окончании суда Бодлер признался Асселино, что не ожидал такого приговора и даже думал, что ему принесут извинения за «попрание чести». Он заявил, что речь идет о прискорбном недоразумении, ведь он всегда считал, что литература и искусство должны служить морали. А Флоберу, в ответ на два письма, в которых тот выражал Бодлеру свою поддержку и симпатию, он писал о «смехотворной аванюре», о «комедии», которая «длится очень давно».

На следующий день толпа любопытных поспешила на улицу Бюси, чтобы купить «Цветы зла» и ознакомиться с шестью осужденными стихами, а тем временем друзья Бодлера принялись громогласно читать эти стихи в ресторанах и кафе, где имели обыкновение встречаться.

Против всякого ожидания через десять дней мученик от литературы, каковым Бодлер внезапно стал, получил письмо от Виктора Гюго, в котором тот уверял, что его «Цветы зла» «сияют и ослепляют, как звезды».



На острове Гернси, где он укрылся в 1855 году после пребывания в Брюсселе и на Джерси, Гюго в действительности ликовал при мысли о возможности заклеймить имперское правосудие:

«Вы только что получили одну из редчайших наград, которые способен пожаловать существующий режим. То, что этот режим именуется своим правосудием, осудило Вас во имя того, что он именуется своей моралью. Вы получили еще один венок. Жму Вашу руку, поэт».

Эти слова побудили Бодлера не подавать апелляцию.

Тем временем случилось то, во что он уже не верил, что до тех пор было связано с его самыми непостижимыми желаниями, с его эротическими мечтами: Аполлония Сабатье, Президентша, отдалась ему в маленьком отеле на улице Жан-Жак-Руссо. Она сказала, что любит его, что никогда еще он не представлялся ей таким красивым и таким желанным, таким обожаемым. И Бодлер признался ей, что с первого же дня, как увидел ее, целиком принадлежит ей, и телом, и душой, и сердцем...

Однако этот фантастический роман, который он придумал, эта воображаемая любовная история разрушились в одночасье. Да и как же иначе: недоступная женщина, которая на протяжении стольких лет была предметом его восторга и обожания, оказалась самой обычной. Он держал ее в своих объятиях, как любую другую, и неловко занимался с ней любовью. Она была его божеством, пока оставалась неприкасаемой. К тому же он отдавал себе отчет, что у него нет больше веры, чтобы любить, чтобы любить бескорыстную и достойную уважения женщину.

Тридцать первого августа 1857 года Бодлер написал Президентше. В своем письме он ссылался на Моссельмана, по-прежнему содержавшего свою любовницу, «честного человека, счастливого тем, что он все еще любит ее». Говорил, что боится, боится ее, а главное, боится себя, своей «собственной грозой», страшится рано или поздно поддаться ревности: какой ужас — дойти до этого.

«Я немного фаталист. Одно только я знаю твердо: я боюсь страсти, ибо она мне знакома вместе со всеми ее издержками; и образ любимой, возвышавшийся над всеми пережитыми приключениями, становится чересчур соблазнительным».

Словом, он отступил, испугавшись расставленных им самим наивных и прелестных ловушек, не в силах, как всегда, управлять своими желаниями, соединить безумные порывы своей двойственной сущности, притягательной и отталкивающей, восторженной и разочарованной, легковверной и недоверчивой, мистической и греховной, обольстительной и грубой.

## ЖИЗНЕННЫЕ НЕВЗГОДЫ

Едва он сообщил Президентше, что не чувствует в себе сил любить ее и что отныне она станет для него «невыносимым наваждением», как его опять призвала на помощь Жанна.

Ей совсем плохо, она постоянно жалуется и стонет, а когда ей приходится передвигаться, чудовищно страдает. Здоровье Жанны разрушило скверное вино, вино тряпичников, которое она литрами поглощает в любой час дня и ночи из-за не покидающих ее бед. Но что он мог поделать? Что мог предложить ей еще, он, такой горделивый, такой тщеславный? Полагая, что суд унизил его, Бодлер испытывал ужасное чувство, считал, что невольно притягивает на свою голову невзгоды и поражения.

В меру своих возможностей он пытался помочь Жанне, урывая крохи из своих жалких вознаграждений, которые приносили ему его произведения. С недавних пор у него появилось желание сочинять маленькие поэмы в прозе на манер Алоизиуса Бертрана и его «Ночного Гаспара», первое посмертное издание которого 1842 года долгое время валялось в лавках букинистов на набережных. Шесть из этих маленьких поэм появились 24 августа 1857 года в более чем скромном журнале «Презан» под общим названием «Стихи-ноктюрны». В их числе — «Полмира в волосах», ода «упругим и непокорным» волосам темнокожей женщины, воспоминание о своих забавах в ту пору, когда в двадцать лет он путешествовал на «Пакетботе Южных морей» — великолепный чувственный текст, в котором нет ничего от ноктюрна.

Кроме того, Бодлер все чаще набрасывает на листках свои размышления и замечания, которые озаглавливает то «Ракеты», то «Мое обнаженное сердце», оба названия он позаимствовал из «Маргиналий» По, то есть собрания критических и теоретических заметок, опубликованных в различных американских журналах, которые Бодлер намеревался перевести.

Он поддерживал хорошие отношения с журналом «Презан» и потому имел возможность, вернувшись к своему старому проекту, предложить редакции очерк о карикатуре. В течение всего сентября он самозабвенно работал над ним в номере гостиницы на набережной Вольтера, но нередко переживал тягостные минуты, когда сам себя не понимал и ни во что больше не верил, особенно в счастье и прозорливость своих

современников.

В конце концов его очерк появился в двух номерах, от 1 и 15 октября, первый был посвящен французской карикатуре, второй — зарубежным карикатуристам. Удобный случай снова поговорить среди прочих и об Оноре Домье, одном из «самых значительных», по словам Бодлера, людей современного искусства и его удивительных политических шаржах. «В беспорядочном собрании уродов, — писал он, — в невообразимой дьявольской комедии, то шутовской, то кровавой, перед нами проходят вереницей все почтенные политические деятели в самом разнообразном и гротескном обличье». Случай также снова вспомнить Гранвиля и Гаварни, не забыв при этом из зарубежных Хогарта и Гойю, представлявших «непреходящий комизм». «Гойя всегда велик, нередко он навевает ужас, — отмечал Бодлер. — С веселой жизнерадостностью испанской сатиры добрых времен Сервантеса он сочетает настрой гораздо более современный или, по крайней мере, более близкий нашему веку, стремление к неуловимому, к резким контрастам, к отображению пугающих сторон в природе и человеческих лицах, принимающих порой звероподобный вид».

Через три дня после опубликования в «Презан» очерка «О некоторых зарубежных карикатуристах» настает очередь «Артиста» принять еще одно его произведение. Речь идет о статье, посвященной роману Флобера «Госпожа Бовари», она находилась в работе с августа, и Бодлер должен был написать ее раньше, однако задержал из-за судебного процесса над «Цветами зла». Первый параграф: «В смысле критики положение писателя, который приходит после всех, писателя запоздавшего, имеет преимущества, которыми не располагает писатель-пророк, тот, кто возвещает успех, кто, так сказать, вызывает его силой новаторской смелости и самоотверженности».

В своей статье Бодлер крайне *политичен*, но отнюдь не в духе карикатур Домье. Напротив, он благодарит французскую судебную власть за «ярчайший пример непредвзятости и хорошего вкуса, проявленный ею», когда она высказала свое мнение по поводу романа Флобера — и какого романа! «Самого беспристрастного, самого лояльного» романа, который был «настоящим вызовом, своего рода пари, как всякое произведение искусства». Тем самым он показывает, что по-прежнему верит в правосудие своей страны и что осуждение, которое претерпел он сам, было всего лишь недоразумением.

Бодлер настолько в этом уверен, что 6 ноября без колебаний пишет письмо императрице Евгении.

«Мадам,

необходимо обладать необычайным самомнением поэта, чтобы осмелиться привлечь внимание Вашего величества к столь незначительному случаю, как мой. Я имел несчастье быть осужденным за сборник стихов под названием „Цветы зла“, страшная откровенность моего заглавия не смогла в достаточной мере защитить меня. Я надеялся создать прекрасное большое произведение, а главное, ясное произведение; однако его сочли довольно темным и мрачным, поэтому мне предписали переделать книгу и изъять несколько стихов (*шесть из ста*). Должен сказать, что Правосудие обошлось со мной с предельной вежливостью и даже из слов самого приговора вытекает признание моих высоких и чистых намерений...»

После таких предосторожностей он попросил о снижении наложенного на него штрафа, ибо сумма, по его словам, превосходила «возможности вошедшей в поговорку бедности поэтов». И, похваставшись свидетельством уважения, выраженного ему высокопоставленными друзьями, он попросил императрицу о личном ходатайстве за него перед министром юстиции.

Но Бодлер находится в плохом состоянии, и физическом, и моральном. Он чувствует себя ослабленным, подавленным. Как признается он матери, его одолевает «бесконечное уныние, чувство невыносимого одиночества, ощущение постоянного страха перед надвигающимся несчастьем». Он ничего не хочет, ему кажется невозможным в чем-то найти радость. У него уже почти не вызывает интереса успех «Цветов зла».

Стоит ли писать, украшать вымысел? «Не припомню, чтобы когда-нибудь я опускался так низко и так долго пребывал в тоске», — писал Бодлер госпоже Опик.

И потом, эта постоянная, безысходная нищета, бесчисленные долги, от которых ему не удастся избавиться. А к этому еще прибавляются «боли в желудке, которые длятся не один месяц, и мучительное удушье». «Все, что я ем, душит меня или вызывает колики. Если дух может улучшать физическое состояние, то непрерывная упорная работа вылечит, только надо захотеть, а вот воли как раз и не хватает — порочный круг», — писал Бодлер.

Один слабый луч света: в пассаже «Панорама» у какого-то торговца он увидел картину своего отца — спящая женщина, которая видит во сне две обнаженные фигуры. Картина была весьма посредственная, но его она взволновала, ему вспомнились его детские годы на улице Отфёй.

## «АНСЕЛЬ — НЕГОДЯЙ»

Более всего Бодлер раздражен тем, что в то время, как он испытывает моральные и физические муки, госпожа Опик и Нарсисс Дезире Ансель имеют возможность, он это знает, дать ему деньги, в которых он нуждается, но не делают этого.

Деньги, опять деньги, всегда деньги!

Разумеется, он был рад, что министр общественного образования выделил ему в январе 1858 года вознаграждение в сто франков за перевод «Новых необыкновенных историй». И еще больше обрадовался, когда узнал, что министр юстиции решил понизить до пятидесяти франков штраф, наложенный на него за «Цветы зла» 6-й палатой по уголовным делам...

Так что не напрасно он проявил самонадеянность и написал императрице... И все-таки это никак не решало его многочисленных проблем.

И тогда он решил встретиться с Антуаном Жакото, который был свидетелем на бракосочетании его матери и отчима и так же, как Жан Луи Эмон, являлся одним из членов семейного совета, собиравшегося в 1844 году. Он почему-то полагал, что этот человек, которого он не видел с тех пор, как достиг установленного законом совершеннолетия, сможет стать отличным дипломатом и довольно ловко оказать давление сначала на госпожу Опик, затем на Ансея. Его ближайшая цель: избавиться от всех парижских долгов и собрать достаточно денег, чтобы поселиться в Онфлэре.

Однако после встречи с Жакото Ансель повел себя довольно странно: он немедленно отправился в гостиницу «Вольтер» и заявил хозяину, что Бодлер, вопреки своим уверениям, никогда не заплатит ему денег, которые должен.

Узнав о столь странных обстоятельствах, Бодлер взорвался от возмущения. Задыхаясь от гнева, со слезами ярости на глазах, он сразу же отправил матери несколько писем. «Ансель негодяй, — заявил он, — я надаю ему пощечин в присутствии его жены и детей, я отхлестаю его в четыре часа (дело было в половине третьего), а если не застану, то буду ждать. Клянусь, что положу конец этой истории, страшный конец». Он во что бы то ни стало требовал извинений и уже задавался вопросом, не следует ли ему искать свидетелей на случай, если придется драться на

дуэли с Анселем или его сыном.

К счастью, госпоже Опик удалось успокоить его. Затем она передала ему крупную сумму денег, чтобы он расплатился с самыми неотложными долгами, хотя бы по счетам за номер в гостинице «Вольтер».

Но вместо того, чтобы отправиться, как он намеревался, в Онфлёр, Бодлер поехал в Корбей, не собираясь, впрочем, там задерживаться надолго. Ему хотелось лишь проследить за работой типографии Крете и внести правку в корректуру повести «Приключения Артура Гордона Пима», третьего тома произведений По, издаваемых Мишелем Леви. Ему не хотелось повторения ошибок и погрешностей «Необыкновенных историй»...

Когда в конце апреля книга поступила в продажу, Бодлер снова обратился к Сент-Бёву в надежде получить от него большую хвалебную статью. Рассчитывал он также и на благоприятный отзыв Барбе д'Оревильи. Однако то, что он обнаружил 15 мая в «Ревей», правокатолическом еженедельнике, привело его в ярость: коннетабль подверг американского писателя резкой критике, превратив в вульгарного пьяницу.

Едва он успел справиться со своим раздражением, как «Фигаро» в номере от 6 июня приписала ему весьма нелестные высказывания о самом Викторе Гюго и главных представителях романтизма. Некий Жан Руссо утверждал, что гордыня и неблагодарность заставляют поэта отречься от великих учителей, коих он почитал и кого теперь считает возможным «оплевывать».

Спустившись с заоблачных высот, Бодлер отправил руководителю газеты не лишённое иронии письмо с протестом:

«Полагаю, сударь, автор этой статьи — молодой человек, который пока еще не понимает, что позволительно, а что нет. Он уверяет, будто следит за всеми моими действиями, причем наверняка с величайшей осмотрительностью, ибо сам я его никогда не видел.

Настойчивость, с какой „Фигаро“ меня преследует, может подать злонамеренным людям или малоосведомленным о Вашем характере, под стать тому, как Ваш редактор осведомлен о моем, мысль, что Ваша газета рассчитывает на великое снисхождение правосудия в тот день, когда я обращусь в инстанции, осудившие меня, с просьбой о защите.

Заметьте, что в вопросах критики (чисто литературной) я придерживаюсь настолько либеральных взглядов, что люблю даже вольности. Поэтому если Ваша газета найдет способ пойти в своей критике на мой счет еще дальше, чем до сих пор (если, конечно, не станет утверждать, что я бесчестный человек), то я буду только рад, как лицо

незаинтересованное».

Дела, касающегося Виктора Гюго, не последовало, хотя Жан Руссо, автор возмущившей поэта статьи, настаивал, что ничего не выдумал. Тем не менее у Бодлера возникло ощущение, что он стал мишенью для хроникеров и газетных писак, решивших облить его грязью. Однако он не чувствовал себя удрученным и вынашивал новые планы. В частности, он не прочь был поработать над произведением Томаса Де Куинси и перевести «Исповедь англичанина-опиомана» полностью, ибо Альфред де Мюссе в 1828 году дал лишь выжимки из него на французском языке. А пока в «Ревю контанпорен» он опубликовал эссе «Искусственный идеал — гашиш», где отдавал должное Де Куинси, в котором видит автора «с отклонением», чьи пространные и забавные рассуждения считает «превосходными». К тому же он предполагает написать и другие стихи-«ноктюрны», а также новые стихотворения, которые можно было бы включить в следующее, исправленное и дополненное издание «Цветов зла». А кроме того, собирается продолжить очерки о художниках, один из которых будет посвящен *мыслящим* живописцам...

Правда, чтобы выполнить все эти планы, ему требовался покой, а в гостинице «Вольтер» у него такого покоя не было, после того как *негодяй* Апсель очернил его репутацию.

В октябре 1858 года он выехал из гостиницы и, сменив два-три пристанища, принял решение временно поселиться у Жанны на улице Ботрейн, неподалеку от острова Сен-Луи и их первого жилища, где они обосновались вскоре после их встречи в 1842 году.

Это возобновленное совместное существование изнурительно и тягостно: Жанна очень тяжело больна; сам же он страдает от боли в ногах, постоянных резей в желудке, и у него трудности с дыханием, которые он пытается преодолеть с помощью эфира и опиума. Поэтому мысль о поездке в Онфлёр непрерывно возвращалась к нему. В одном из его писем госпоже Опик от 19 октября он говорил, что «окончательно» приедет туда в конце месяца.

И вскоре он действительно оказался на пути в Нормандию, но остановился в Алансоне, чтобы провести несколько дней у Пуле-Маласси. По правде говоря, публикация «Цветов зла» и судебный процесс над сборником сильно сблизили обоих. Долги тоже. Да и скверная привычка обмениваться дружескими векселями.

## ДВЕ ЖЕНЩИНЫ

Онфлёр.

Наконец-то он там, он вернулся к своей матери, после долгих лет блужданий и потерь вернулся в лоно семьи, он рядом с той женщиной, которая дала ему жизнь, и хотя ее зачастую заслоняли, один за другим, два мужа, тем не менее она была сильной личностью. Одна она была способна предложить ему подобие домашнего очага, где он мог чувствовать себя защищенным от множества невзгод.

Теперь не было ни малейшего риска, что кто-то третий встанет между ними. Однако Ансель и Эмон были настороже и не позволяли госпоже Опик поступать как вздумается со своими сбережениями и рентой. Впрочем, она вовсе не так богата, генерал никогда не стремился составить себе состояние. Того, что она унаследовала после него, и маленькой пенсии, которую выплачивало ей государство после смерти Жозефа Франсуа Бодлера, ей хватало, чтобы обеспечить свою старость. Но не более того. Во всяком случае, на постоянную помощь сыну рассчитывать не приходилось.

В первые дни своего пребывания в Онфлёре в январе 1859 года Бодлер был доволен. В «домике-игрушке», как сам он называл особнячок госпожи Опик, Бодлер занимал две комнаты: спальню и кабинет, где у него были все возможности спокойно работать.

На самом деле много времени он проводит за письмами своим друзьям в Париже. Естественно, один из первых, к кому он обращается, это Асселино, который четыре месяца назад опубликовал у Пуле-Маласси и Де Бруза «Двойную жизнь». Этот том, объединивший одиннадцать новелл в фантастическом духе, стал поводом для восторженной статьи Бодлера в «Артисте» от 9 января. «Огромный талант господина Асселино, — писал он, — состоит в способности прекрасно понять и полностью узаконить абсурд и невероятность. Он схватывает и отражает, порой с неукоснительной точностью, странные умозаключения сна. В такого рода пассажах его бесхитростная манера резкого и четкого повествования достигает высокого поэтического эффекта».

Обычно с Асселино он говорит обо всем и ни о чем, о серьезных и важных вещах, но также и о пустяках. А то и просто сплетничает. Так, 20 февраля он сообщает ему о «местных толках». Попросив, однако, при этом не называть его имени, если случайно они дойдут до слуха какого-нибудь



жителя Онфлёра.

«От работников, которые трудятся в саду, я узнал, что какое-то время назад жену мэра застали в исповедальне, где она предавалась любовным утехам. Об этом мне поведали, потому что я спросил, почему церковь Сент-Катрин закрыта в те часы, когда там нет службы. Похоже, именно с тех пор кюре принял меры предосторожности против святотатства. Это несносная женщина — недавно она мне говорила, что была знакома с художником, который расписывал фронтоны Пантеона, — хотя задница у нее, наверное, отменная. Ну разве эта история с провинциальными забавами в священном месте не заключает в себе всю соль старинного французского свинства?»

Нормандское уединение Бодлер использовал для ускорения своих все более многочисленных работ. Это переводы из По, от них он не собирался отказываться, это стихи и маленькие поэмы в прозе, и разные заметки, которые он в беспорядке набрасывает на клочках бумаги, они предназначались для статей и эссе, которые он предполагал написать. А кроме того, это его литературные очерки.

Тот, над которым он тогда работал, имел отношение к Теофилю Готье. Сосредоточившись на авторе романа «Мадемуазель де Мопен», он выполнял долг, отдавая дань восхищения, уже вторую после посвящения «Цветов зла» ему, «дорогому и уважаемому учителю и другу», которого он знал долгие годы. И восхищение это было искренним, ибо никто не заставлял его доводить этот очерк до конца.

Бодлер, бесспорно, любит восхищаться, скорее, конечно, инстинктивно, чем по расчету. И доказательство этому то, что большинство людей, которых он высоко ценил, умерли: де Местр, Шатобриан, Бальзак, По... В Готье ему более всего нравится тонкий, аристократический писатель, то есть писатель, который отказывается быть «простонародным», рискуя в таком случае не удостоиться той славы, какой заслуживает. Ему нравится его страсть к прекрасному, его стиль.

«Если вдуматься, — писал Бодлер, — что к этой изумительной способности Готье добавляется прирожденное понимание универсального *соответствия* и символики, составляющих суть любой метафоры, то станет ясно, что он может непрерывно, без усталости и безошибочно определять таинственное положение, какое предметы мироздания занимают в глазах человека. Есть в слове, в глаголе нечто *священное*, что запрещает нам превращать его в игру случая. Умело пользоваться языком, это значит осуществлять своего рода чудодейственное заклинание».

Кроме того, в Готье ему нравится человек, добрый, отзывчивый, способный радушно встретить начинающих авторов, ободрить их, ведь в

самом начале Бодлер и сам испытал это на своем примере, ему нравятся деликатность Готье и его искренность. Для него Готье несомненно ровня самых великих из прошлого, «образец для тех, кто придет, бриллиант, редко встречающийся в эпоху, одурманенную невежеством и удовольствиями, то есть безупречный литератор».

«Эпоха, одурманенная невежеством и удовольствиями...» Бодлер не случайно написал эти слова в самом конце очерка. Они действительно выражают то, что он думал и чувствовал. Они соответствуют тому, в чем он удостоверился с тех пор, как погрузился в бурлящий мир искусства и литературы. И с досадой понял, что Франция не поэтична, напротив, она испытывает врожденный ужас перед поэзией. Во Франции Прекрасное, отмечал он, поставив заглавную букву, «легко переваривается лишь сдобренное острой политической приправой». В этом, по его мнению, причина ломки и подавления любого самобытного характера. В этом причина его собственной печальной судьбы.

Подумать только, в его-то возрасте, в тридцать восемь лет, он вынужден искать пристанища у своей матери!

По прошествии нескольких недель в Онфлёре ему стало недоставать парижской сутолоки. Так же, как недоставало наркотического лекарства, которое ему с превеликим трудом удавалось добывать в местной аптеке, которую с 1850 года содержал Шарль Огюст Алле<sup>[41]</sup>.

К тому же его требовала Жанна...

В марте он вернулся к ней на улицу Ботрейн. Она ужасна, едва передвигается, никогда еще он не видел ее в столь плачевном физическом состоянии...

В довершение всего Жанну разбил паралич, и ее пришлось отвезти в муниципальную больницу предместья Сен-Дени. Бодлер и на этот раз взял на себя расходы по госпитализации, к счастью, не без помощи Пуле-Маласси, с которым его связывали общие литературные планы: второе издание «Цветов зла» с включением множества неизданных стихов, том критических статей о живописи и книга «Искусственный рай».

Выполнив свой долг перед Жанной, Бодлер решает возвратиться в Онфлёр всего через несколько дней после открытия Салона 1859 года. По залам Елисейского дворца он пронесся как вихрь, мысли его были уже далеко, их занимали «обширность неба» и «подвижная лепка облаков» над тихим «домиком-игрушкой» матери.

## «ВЛАСТЕЛИН ПАДАЛИ»

Один из друзей, которому Бодлер часто пишет, снова обосновавшись в Онфлэре, не кто иной, как Феликс Турнашон, он же Надар. Нет, они не теряли друг друга из вида, но у Надара не было больше времени пировать и бродяжничать: он женился и очень много работал. Однако теперь он не только, как прежде, отдавал рисунки и карикатуры в газеты и периодические издания, но открыл для себя новую всепоглощающую страсть — фотографию. С марта 1854 года он официально стал фотографом и основал свою мастерскую в доме 113 по улице Сен-Лазар. Специализацией его стали портреты, ему позировали писатели, художники и музыканты, такие как Нерваль (как раз перед самой смертью), Готье, Виньи, Дюма, Санд, Асселино, Банвиль, Делакура, Доре и Россини. И само собой разумеется, старинный его друг Бодлер, причем не раз. В 1856 году Надар, кроме того, основал Общество художественной фотографии.

Он по-прежнему сохранял свой насмешливый ум и острое чувство иронии и сатиры, поэтому счел уместным поместить в «Журналь амюзан» от 10 июля 1858 года карикатуру, изображавшую ошеломленного отца, обнаружившего в руках своей дочери экземпляр «Цветов зла». А в начале 1859 года нарисовал Бодлера перед кучей падали — прямая отсылка к одноименному стихотворению сборника.

В письме, отправленном Надару 14 мая, Бодлер сетовал на это, уверяя, что ему тягостно прослать «Властелином Падали». Но написал-то он тогда Надару прежде всего, чтобы попросить почтовый перевод. Он объяснил свою просьбу тем, что его мать уехала, оставив его «совершенно без средств». И только после этого рассказал, чем занят в данный момент, признавшись, что готовит статью о Салоне 1859 года, «не видя его». *«Но у меня есть каталог, — писал Бодлер. — Если не считать трудности разгадывать картины, то это превосходный метод, каковой и тебе рекомендую. Боишься слишком хвалить и слишком порицать. Зато добиваешься таким образом беспристрастности».*

Журнал «Ревю франсез» напечатал в двух выпусках, июньском и июльском, «Салон 1859 года» в виде писем руководителю издания Жану Морелю. Если «Салон 1845 года» представлял собой каталог, а 1846 года — своего рода общий перечень проблем искусства, то последний являлся неким эстетическим эссе, чем-то вроде философского странствия по живописи, расцвеченного конкретными примерами, то есть

произведениями, выставленными в Елисейском дворце.

Бодлер считал, что художник не должен заботиться о реальности, тем более что жалкая реальность открывается ему через глянец внешней видимости. Поэтому он набрасывается на реализм, который проповедует и защищает Шанфлёр, восстает против искусства, казавшегося узаконенным в конце 1850-х годов, нацеленного на копирование природы, в числе прочих такое искусство иллюстрировали картины Жана Франсуа Милле. По той же причине, вопреки работам Надара, Бодлер точно так же выступает против фотографии, «прибежища неудавшихся художников, малоодаренных или слишком ленивых недоучек». На его взгляд, фотография может и должна ограничиться смиренной ролью служанки науки и искусства. А это означает, что ей не «дозволено покушаться на область неуловимого, на плоды воображения, на все то, что представляет собой ценность лишь своей причастностью к человеческой душе».

Зато Бодлер восхваляет и превозносит дар воображения, накладывающего отпечаток на все другие способности человека и роднящего его с вечностью. По его мнению, только воображение может воодушевить творца и побудить к бою. Исходя из этого, полагает он, все сводится к одному-единственному вопросу: обладает ли художник воображением? И этот дар воображения, благодаря которому постигается «духовная суть цвета, контура, звука и запаха», этот *созидательный* дар в божественном смысле слова Бодлер пытается отыскать и в портретах, и в пейзажах, и в жанровых сценах, и в карикатуре. Однако художников, наделенных даром воображения, в «Салоне 1859 года» очень мало: это Эжен Фромантен с его североафриканскими полотнами, Эжен Буден, обладающий чувством «магии воздуха и воды», возможно, Шарль Мерион, создатель серии офортов, сумевший поэтично отобразить столь дорогую сердцу Виктора Гюго естественную торжественность Парижа, путем аллегории у него древность сочетается с современностью... Ну и конечно, Делакура, «этот необыкновенный человек, который мерился силами с Вальтером Скоттом, Байроном, Гёте, Шекспиром, Ариосто, Тассо, Данте и Евангелием, который осветил историю лучами своей палитры и изливал на нас ослепительные потоки своей фантазии».

В то время как «Ревю франсез» заканчивает публикацию «Салона 1859 года», Бодлер возвращается в Париж. Несколько дней он живет у Жанны, которая вышла из больницы, где ее кое-как подлечили, потом переселяется в маленькую комнату на шестом этаже гостиницы «Дьепп» по улице Амстердам, 22.

Постоянно нуждаясь в деньгах, он вскоре познакомился с издателем

Эженом Крепе. Бодлер собирался составить антологию французских поэтов от самых истоков и написать заметки о некоторых из них, наиболее близких ему, вроде Теофиля Готье, Петрюса Бореля или Пьера Дюпона. Вместе с тем он торопил Мишеля Леви подписать с ним новый договор на перевод философской поэмы в прозе Эдгара По «Эврика», хотя знал, что это довольно трудное произведение, несколько странные положения которого он разделяет далеко не полностью. Однако ни Эжен Крепе, ни Мишель Леви, судя по всему, вовсе не спешили приняться за дело.

Тем не менее Бодлер всегда мог рассчитывать на Пуле-Маласси, который в ноябре издал отдельной брошюрой его очерк «Теофиль Готье», опубликованный сначала в «Артисте».

Да еще с каким добавлением: письмом-предисловием Виктора Гюго!

Письмо это, по правде говоря, Бодлер почти выпросил, полагая, что для придания веса очерку и к тому же чтобы заставить замолчать глупцов, ему необходим «более громкий голос», чем его собственный, «диктаторский» голос.

«Я нуждаюсь в защите, — писал Бодлер Виктору Гюго. — Я со смирением опубликую все, что Вы соблагovolите написать. Не стесняйтесь, умоляю Вас. Если в этих гранках Вы найдете что-то, достойное осуждения, не сомневайтесь, что я покорно обнародую Ваше порицание, причем без всякого стыда. Разве это не честь — удостоиться критики с Вашей стороны, напротив, это весьма лестно».

А вот конец письма Виктора Гюго к Бодлеру, в котором «Властелин Падали» ставился на одну доску с тем, кому он поклонялся: с Теофилом Готье...

«Что Вы делаете, когда пишете такие поразительные стихи, как „Семь стариков“ и „Старушки“, которые Вы посвятили мне, за что я Вас благодарю? Что Вы делаете? Вы шагаете. Вы двигаетесь вперед. Вы зажигаете на небосводе Искусства какой-то новый, мрачный луч. Вы вызываете новый трепет <...> Но поэт не может идти один, надо, чтобы и человек двигался тоже. И значит, шаги Человечества — это шаги самого Искусства. — Итак, слава Прогрессу.

Ради Прогресса я страдаю сегодня и готов умереть. Теофиль Готье — великий поэт, и Вы славите его, как младший брат, каковым и являетесь. У Вас, сударь, благородный ум и великодушное сердце. Вы пишете глубокие и часто правдивые вещи. Вы любите Прекрасное. Дайте мне руку».

## НАСЛАЖДЕНИЕ МУЗЫКОЙ

Да, Бодлер действительно мог рассчитывать на Огюста Пуле-Маласси и его компаньона Эжена Де Бруаза, так как через несколько недель после появления маленькой книжки, посвященной Теофилю Готье, он заключил с ними новый договор на четыре новых названия: второго расширенного издания «Цветов зла», «Искусственного рая» и еще двух сборников — одного с критическими статьями об искусстве и второго со статьями по литературе. Кроме того, финансовые условия были довольно хорошие: предполагавшийся тираж каждой из этих книг — полторы тысячи экземпляров, и за каждую Бодлер должен был получить по триста франков, половину — после окончательной сдачи рукописи, а другую половину при подписании в типографии последнего листа в печать.

Едва в январе 1860 года был подписан этот договор, как у Бодлера, увы, случился сильный приступ прямо на улице. То были пагубные последствия сифилиса. Он вдруг почувствовал нестерпимую головную боль, головокружение, началась рвота, пошатнувшись, он чуть не потерял сознание, какая-то старая женщина попыталась помочь ему... В конце концов Бодлер сумел добраться до гостиницы и после нескольких тягостных часов пришел в себя. В своих записях он отмечал, что ему следовало бы вести более размеренный образ жизни и отказаться от любых возбуждающих средств.

Но как обойтись без лауданума и оставаться в Париже запертым в четырех стенах? Ему необходимо было двигаться, погружаться в толпу, ходить в кафе — в кафе «Мадрид», «Мелуз», «Диван Лепелетье», «Клозри де Лила», в «Бюффе жерманик»... Необходимо посещать спектакли, встречаться с другими писателями, руководителями газет, с близкими друзьями или возвращаться к Президентше, по-прежнему проявлявшей к нему особое внимание, хотя он самым жалким образом отказался стать ее любовником, зато Моссельман, добрейшая душа, по-прежнему оставался ее покровителем.

Так, Бодлер идет слушать музыку Рихарда Вагнера в Итальянский театр и получает одно из величайших наслаждений в своей жизни, ощущает такой подъем, которого не испытывал уже добрых пятнадцать лет, и только сожалел, что не имел счастья разделить это чувство с Асселино, отменным меломаном.

Вагнеру было сорок семь лет, и он хорошо знал и Францию, и

французскую публику: в Париже композитор жил вместе со своей женой Минной, первый раз — с 1839 по 1842 год, когда он сочинял «Летучего голландца» и едва сводил концы с концами, потом в 1850 году. Несколько месяцев назад он вновь приехал в Париж и снял апартаменты на улице Матиньон: Наполеон III очень интересовался его музыкой, и в императорской парижской «Опере» репетировали «Тангейзера», работа над которым началась еще в 1842 году.

Впрочем, большинство его лирических драм — «Летучий голландец», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские мейстерзингеры» — уже вызвали во Франции противоречивые отклики и острую полемику, столкнувшую сторонников и противников Вагнера, и те и другие выступали с одинаковой непримиримостью и яростью. К лагерю ревностных поклонников принадлежал, в частности, Нерваль, который еще в 1848 году расхваливал «Лоэнгрину». И, разумеется, неизменный Готье, который, услышав в Германии в 1857 году «Тангейзера», в одной из своих статей в «Мониторе» потребовал, чтобы это произведение в самые короткие сроки было исполнено на сцене императорской парижской «Оперы».

Бодлер был потрясен и до того взволнован вступлением к третьему акту «Лоэнгрину» и маршем в «Тангейзере», до того возмущен оскорблениями в адрес Вагнера во Франции, что написал ему пламенное письмо в соответствии с давней своей привычкой обращаться письменно к людям, которыми восхищался.

«...меня главным образом поразило ощущение величия, — писал Бодлер. — <...> И вот еще что: я не раз испытывал довольно странное чувство, этакую гордость и радость от понимания музыки, от того, что в меня проникало и меня захватывало поистине чувственное наслаждение, словно я поднимался в воздух или плыл по морю. И вместе с тем порой музыка выражала гордость жизни. Обычно столь полная гармония кажется мне сродни возбуждающим средствам, которые дают толчок воображению. Наконец, я испытал, умоляю Вас воспринять это без смеха, ощущения, которые объясняются, видимо, складом моего ума и моими повседневными заботами. Повсюду есть что-то вдохновенное и вдохновляющее, что-то стремящееся ввысь, что-то чрезмерное и беспредельное. <...> Если хотите, это будет крик души, достигшей небывалых высот».

И в качестве постскриптума Бодлер приписал: «Адреса своего не оставляю, чтобы Вы не подумали, будто я собираюсь о чем-то Вас просить».

В этом бескорыстии весь он, такой, как всегда, с тех самых пор, как в

девятнадцать лет попросил встречи у Виктора Гюго. Ему необходимо постоянно трепетать, ему необходимо воодушевляться и восхищаться, ему необходимо млеть от восторга. Ему нужны были Бальзак, По или Делакруа, а теперь вот Вагнер, чтобы жить, чтобы сносить ужасное бремя существования, чтобы преодолевать посредственность своей эпохи и собственной страны, страны, где, с его точки зрения, «ничего не понимают ни в поэзии, ни в живописи, ни в музыке». Ему необходимо было *наслаждаться* литературой и искусством.

И все та же потребность увлекаться заставила его в 1860 году восхищаться акварелями художника голландского происхождения Константена Гиса и возносить их до небес. Дело дошло до того, что он, хотя сам был по уши в долгах, купил у художника акварели, благодаря гонорару, который Пуле-Маласси выплатил ему за правку гранок «Искусственного рая». Мало того, Бодлер побуждал свое окружение последовать его примеру, настолько он был уверен, что рисовальщик обладает даром, сравнимым с талантом Делакруа.

Ибо искусство, музыка и литература помогли Бодлеру преодолевать страх умереть прежде, чем он успеет сделать все, что собирался, написать все книги, которые предполагал написать. И еще страх пережить уход из жизни матери, не успев доказать ей величие своей души, и навсегда избавиться от своих пагубных страстей, своих «пороков»<sup>[42]</sup>.

Пока он обсуждал с Эженом Крепе антологию французских поэтов и денежные вопросы, в издательстве Пуле-Маласси и Де Бруаза, в конце концов, вышел «Искусственный рай». В тот момент Бодлера раздирали противоречивые чувства: с одной стороны, он радовался новой своей книге, поступившей в продажу; с другой — сожалел, что не может послать ее Томасу Де Куинси, скончавшемуся 8 декабря 1859 года в Эдинбурге в возрасте семидесяти четырех лет.

«Но Смерть, с которой мы не обсуждаем своих планов и у которой не можем испросить согласие, — писал он в последней главе книги, — Смерть, позволяющая нам мечтать о счастье и славе, не говоря ни да, ни нет, внезапно появляется из своего укрытия и одним взмахом крыла сметает наши планы, наши мечты и воображаемые сооружения, где мысленно мы даем приют величию своих последних дней!»

Прочитав «Искусственный рай», Флобер, сир де Воффрилар, удивился, обнаружив там немало пассажей, овеянных злым духом. Он усмотрел в этом что-то «вроде зародыша католицизма» и поставил это Бодлеру в упрек.



## ВОЗВРАЩЕНИЕ В НЁЙИ

После выхода в свет «Искусственного рая» Бодлер, как обычно, ищет возможности заручиться отзывами, предпочтительно положительными, за подписью авторитетных людей.

И, разумеется, он не может опять не вспомнить о Сент-Бёве. Не один год он посылал ему письма с выражением своего восхищения и почтения, просил замолвить за него слово перед руководителем газет и журналов, добивался от него статьи, прекрасно зная, что любая строка, написанная его рукой, найдет отклик.

На сей раз в редакции «Монитёр юниверсель» его заверили, что готовы поместить статью, посвященную «Искусственному раю». Если, конечно, Сент-Бёв соблаговолит написать таковую. Но и на этот раз Сент-Бёв уклонился. Он ограничился тем, что отправил Бодлеру письмо, в котором хвалил и поощрял его. Иначе и быть не могло, он всегда щадил людей, занимавших определенное положение, и вовсе не был расположен, по словам Леона Лемонье, «поддерживать своим авторитетом» автора, прославляющего спиртное, проституцию, кощунство и самоубийство и к тому же осужденного судом за оскорбление нравственности.

Вспомнил Бодлер и о Барбе д'Оревилли. Однако с коннетаблем у него совсем иные отношения. И хотя он разговаривает с ним на «вы», в письмах называет его «Дорогой *старый* мошенник» и «Негодник» и не стесняется сказать в письме от 9 июля 1860 года, что глава одной из его статей о Лакордере «страшно путаная», что эта статья, безусловно, больше выиграла бы, если бы тема была разработана поглубже. Барбе д'Оревилли, полная противоположность Сент-Бёва, сразу же написал для «Пэи» заметку об «Искусственном рае».

В самый разгар лета 1860 года Бодлера одолела непоседливость. Ему вдруг надоела гостиница «Дьепп» на улице Амстердам, и он решил снять квартиру в Нёйи, где уже обосновывался дважды, сначала в августе 1848 года, затем с мая 1850 года по июль 1851 — го. Квартира находилась в доме 4 по улице Луи Филиппа. Он сразу же перевез туда то, что именовал своими «обломками». А иными словами, уникальную мебель, предметы и картины, которыми владел и которые на протяжении двадцати лет перетаскивал из одного жилища в другое.

В идеале, полагал Бодлер, лучше всего было бы жить попеременно то в этой квартире в Нёйи, то в доме госпожи Опик в Онфлэре, где ему всегда

так плодотворно работалось. Он устраивает в Нёйи парализованную Жанну, но сам остается все-таки в гостинице «Дьепп». Поразмыслив, Бодлер решил, что там ему будет спокойнее и он сможет по-настоящему заняться подготовкой второго издания книги «Цветы зла», которую Пуле-Маласси рассчитывал пустить в продажу весной следующего года, а также двух сборников критических статей: «Эстетические диковинки» и «Литературные мнения».

Пуле-Маласси тоже погрузился в дела с недвижимостью. В Париже у него сначала был склад у католического книготорговца на улице Бюси, затем появилась контора на антресольном этаже на улице Боз-Ар; теперь, по совету Бодлера и де Банвиля, он решил арендовать магазин в центре столицы, неподалеку от книжной лавки Мишеля Леви. В октябре это маленькое событие стало предметом для отклика в «Ревю анекдотик»:

«Пуле-Маласси, чей издательский дом в Париже до сих пор находился на улице Боз-Ар, открыл магазин на углу пассажа Мирес и улицы Ришелье. Много идет разговоров о будущем убранстве этого нового книжного магазина. Художникам-реалистам предстоит разрисовать там потолок и украсить помещение фресками; называют имена Курбе, Амана, Армана Готье и других. Также, как в „Либрери нувель“, туда можно будет приходить, чтобы знакомиться с новыми изданиями и узнать последние литературные новости. „Ревю анекдотик“ не сомневается в успехе начинания и рассчитывает черпать там иногда некоторые сведения».

Бодлер неустанно следил, чтобы в заботах по обустройству книжного магазина, который должен был открыться в январе 1861 года, Пуле-Маласси не забывал о безупречном оформлении «Цветов зла». Увидев фронтиспис сборника, выполненный Феликсом Бракмоном, — древовидный скелет в окружении цветов, Бодлер счел его ужасным и отказался принять в таком виде, к величайшему неудовольствию своего издателя, который был очень дружен с художником. Бодлер полагал, что в офорте не было ничего оригинального и что он мог бы подойти для любой книги. Его аргумент сводился к следующему: «В основе любой литературы лежит грех». После долгих переговоров Бракмон сделал новый фронтиспис, выполнив портрет Бодлера в технике офорта по фотографии Надара.

Несмотря на свою придирчивость, Бодлер утратил боевой дух. Множество мрачных мыслей постоянно приходит ему в голову, делая его все более нервным и угрюмым, и он всерьез задается вопросом, не лучше ли будет, если смерть освободит его от всех тягот, от «неизбывной нищеты».

Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!  
Нам скучен этот край! О Смерть, скорее в путь!  
Пусть небо и вода — куда черней чернила,  
Знай — тысячами солнц сияет наша грудь!

Обманутым пловцам раскрой свои глубины!  
Мы жаждем, обзрев под солнцем все, что есть,  
На дно твое нырнуть — Ад или Рай — едино! —  
В неведомого глубь — чтоб *новое* обрести!<sup>[43]</sup>

Но если он умрет, если решится на самоубийство, на *Неведомое*, кто утешит Жанну, «эту бывшую красавицу, превратившуюся в калеку», за которую он чувствует себя в ответе?

Ну да, у Жанны есть брат, брат, о существовании которого Бодлер раньше и не подозревал и который внезапно появился в начале октября, словно с неба упал! Возможно, брат сможет ухаживать за больной... Во всяком случае, с той минуты, как он объявился, у него вошло в привычку жить у своей сестры в квартире на улице Луи Филиппа в Нёйи.

Именно там Бодлер в конце концов и обосновался 15 декабря 1860 года, через несколько дней после очередного возвращения из Онфлёра.

## ОБНАЖЕННОЕ СЕРДЦЕ

Остаться в Нёйи?

Бодлер думает об этом после того, как вернулся к Жанне. Но что его беспокоит и даже раздражает, а в конце концов и просто выводит из себя, так это постоянное присутствие брата. Целыми днями, с восьми утра до одиннадцати часов вечера, этот тип сидит в комнате сестры, мешая таким образом Бодлеру беседовать со своей *старой любовницей* — это единственное удовольствие, которое он еще испытывает при встрече с ней.

И нет никакой возможности избавиться от брата. Нельзя рассчитывать и на финансовую поддержку с его стороны. Этот мерзавец имел наглость заявить, что уже целый год живет у сестры и будто бы одолжил ей деньги!

После двадцати пяти дней столь мучительного сосуществования возмущенный Бодлер, потеряв всякое терпение, покинул улицу Луи Филиппа и в октябре 1861 года снова поселился в гостинице «Дьепп».

Через несколько дней его утешил выход второго издания «Цветов зла» тиражом в полторы тысячи экземпляров. В этой книге были собраны сто двадцать девять стихов. За исключением тех шести знаменитых стихотворений, изъятых по решению суда 20 августа 1857 года, в нее вошло около тридцати новых стихов, публиковавшихся ранее в журналах — либо в «Артисте», либо в «Ревю контанпорен». И эти новые стихи так или иначе являли собой скандальную исповедь, в которой поэт признавал все большую свою зависимость от наркотика, все большую одержимость смертью, сознавая, что находится во власти «жадного бреда».

Распутник! В этих тучах рваных  
Есть сходство с жребием твоим.  
В каких же ты смертельных ранах,  
Каким отчаяньем томим?

— О днях неведомых и странных  
Мой жадный бред не насытим, —  
Я не Овидий в чуждых странах,  
Я не оплакиваю Рим.

Но в рваных тучах, в их тревоге  
Я поневоле узнаю

И гордость, и печаль свою, —

Пускай, как траурные дроги,  
Они влекутся в тот же ад,  
В котором я погибнуть рад.<sup>[44]</sup>

С другой стороны, во втором издании «Цветов зла» обращает на себя внимание раздел, не существовавший в 1857 году и озаглавленный «Парижские картины». Разумеется, такое название было выбрано не случайно: Бодлер — парижанин, и в колдовских чарах родного города, в кипении бурлящего «города снов», где он родился и пытался жить, поэт черпал вдохновение, и его осеяли самые яркие озарения. Среди этих стен, в этом чреве, на этих тротуарах он находил свои искрометные метафоры, вроде такой — «бреду, свободу дав причудливым мечтам, и рифмы стройные срываю здесь и там»<sup>[45]</sup>.

И конечно, Париж лежит в основе «Стихов ноктюрнов», которые Бодлер называл «попыткой лирической поэзии в прозе» и которые впоследствии он собрал в отдельный том, своего рода соответствие «Парижским картинам», или, скорее, продолжение в другой манере и другой литературной тональности. Эту мысль он вынашивает вместе с намерением написать аналитическую работу о дендизме в литературе, представленном, по его мнению, Шатобрианом, де Местром, причудливым маркизом де Кюстином, автором книги «Россия в 1839 году», и Барбе д'Оревильи. Но представленном также и Полем Гашоном де Моленом, романистом его возраста, чью новеллу «Страдания одного гусара» из сборника, изданного Мишелем Леви в 1853 году, он подумывал переделать для театра (большая драма в пяти актах). И это еще не все: Бодлер мечтает о нескольких романах и большой книге, куда он *выплеснет* все свои страсти и весь свой гнев, использовав многочисленные записи, которые он делал. Он назовет ее «Мое обнаженное сердце». По сравнению с ними, писал он матери, «Исповедь» Жана Жака Руссо будет выглядеть бледно.

Все эти замыслы были отложены после того, как 13 марта 1861 года в императорской «Опере» он присутствовал на сопровождавшейся большим скандалом премьере «Тангейзера», поставленного на французском языке после семидесяти пяти репетиций в сопровождении фортепьяно и сорока пяти с хором и оркестром.

Восхищенный Бодлер поспешил написать о творчестве Вагнера большой очерк, занимавший все его мысли двадцать четыре часа в сутки на

протяжении изнурительной недели. Он отдал его в «Ревю эропеен», журнал более близкий к правительственным кругам, чем «Ревю контанпорен», издававшийся Эдуаром Дантю<sup>[46]</sup>. «Ни одному музыканту не удастся, как Вагнеру, с блеском *отобразить* пространство и глубину, материальное и духовное, — писал Бодлер. — В разных обстоятельствах это не могли не отметить многие умы, причем самые лучшие. Он владеет искусством тончайшими градациями передавать все, что есть непомерного, великого, горделивого в человеке естественном и духовном. Когда слушаешь эту воспламеняющую властную музыку, иногда кажется, будто на фоне мрака, порезанного лучами фантазии, различаешь головокружительные прозрения опиума».

Однако Бодлер откладывает выполнение своих намерений собрать парижские стихотворения в прозе, написать о дендизме и вплотную заняться собственной исповедью и другими произведениями еще и потому, что снова почувствовал разрушительное действие сифилиса — пятна на коже, суставной ревматизм, рвота, обмороки, потеря аппетита, кошмары... Он опять возвращается к мысли о самоубийстве, размышляет о своей судьбе, осмеливаясь даже думать, что «некое внешнее невидимое существо» проявляет интерес к нему. Охваченный страшным, сильным отчаянием, он обвинял свою мать, снова упрекал ее за то, что когда-то она согласилась учредить опекунский совет. Он убежден, что один из них в конце концов убьет другого либо что рано или поздно они «взаимно» убьют друг друга.

Если только, думалось ему, она не единственная, кто в силах спасти его, та, что в детстве доставила ему столько счастливых минут, кто была его «идолом» и «подругой».

Естественно, деньги, которые она могла бы передать Бодлеру через Нарсисса Дезире Ансея, принесли бы ему немного «безмятежной радости»... А почему, если вдуматься, какой бы «ужасной» ни была эта идея, его мать не может стать для него «настоящим опекунским советом»?

Бодлер находился в состоянии глубокого кризиса — физического, интеллектуального и материального, когда узнал, что Жанна была брошена в больнице своим братом, а когда вернулась в Нёйи, обнаружила, что, воспользовавшись ее отсутствием, брат распродал часть мебели и ее одежду. Мысль о том, чтобы покинуть Жанну, у Бодлера просто не возникала. Это было невозможно, немислимо.

## ВИЗИТЫ ВЕЖЛИВОСТИ

Теперь, когда у него вышло девять книг и появилось множество публикаций в периодических изданиях — стихи, статьи по искусству, литературе и музыке, Бодлер, которому исполнилось сорок лет, понимал, что его положение не так уж плохо. Совсем иное дело со здоровьем и с кредитоспособностью, просто катастрофической.

Отныне кто-то его почитал, кто-то ему льстил, а кто-то завидовал, ревновал или бичевал. По правде говоря, он мог делать то, что хочет, и любое его сочинение принимали, хотя он обладал весьма непопулярным складом ума, во всяком случае таким, который помешал ему заработать много денег, и он это знал.

Доказательство: заметки о некоторых из его современников, которые в июне 1861 года он начал печатать в «Ревю фантезист», надеясь увидеть их собранными под одной обложкой, согласно его договоренности двумя годами раньше с издателем Эженом Крепе. Шла ли речь о Викторе Гюго, Марселине Деборд-Вальмор, Петрюсе Бореле, Теофиле Готье, Гюставе Ле Вавассёре или Теодоре де Банвиле, все эти заметки носили очень личный характер. Так, например, Банвиля он считал «оригиналом с отважнейшим характером» по той только причине, что, на его взгляд, все современное искусство имело «по сути демоническую тенденцию развития» и люди в середине XIX века жили, безусловно, в «сатанинской атмосфере».

Да, его положение в литературе было совсем неплохим, тем более что многие известные писатели, в частности Виктор Гюго и Теофиль Готье, признавали высокое качество его поэзии и бесспорную убедительность критических статей. А главное, «Цветы зла» нашли горячих сторонников среди более молодых авторов, таких как Огюст Виллье де Л'Иль-Адан (родившийся в 1838 году), романист Леон Кладель (родившийся в 1835 году) и поэт и бродячий актер Альбер Глатиньи, в восемнадцать лет опубликовавший в 1857 году замечательный сборник «Безумные девственницы». Или еще Катюль Мендес (который родился в 1841 году), один из самых ярких защитников Вагнера и вагнеризма, основавший в 1860 году «Ревю фантезист».

Вот при таких условиях Бодлеру и пришла в голову мысль выставить свою кандидатуру во Французскую академию. Это единственная честь, полагал он, которой истинный писатель может добиваться не краснея. Когда он заговорил об этом в своем окружении, большинство друзей были

смущены, не понимая, серьезны ли его намерения или с его стороны это очередная провокация.

Тем более что им с давних пор известны свойственные ему внезапные перемены настроения, в зависимости от его капризов: поэт то с отвращением отвергал губительную буржуазную мораль и суровость государственной власти, то защищал древние традиции и порядок; то изрекал проклятия, а то представлял бóльшим католиком, чем сам папа; то превозносил женский идеал, то клеймил позором весь женский род.

Зато самые проницательные ничуть не удивились, ибо Бодлер всегда казался им классическим писателем, влюбленным в классицизм, даже когда он нарушал привычные правила стихосложения или писал стихотворения в прозе, словно переносил лиризм, чистый лиризм, из одной литературной формы в другую. И потом, разве денди не является по определению классиком и конформистом? Если не реакционером?

Как бы там ни было, 11 декабря Бодлер написал письмо Абелью Вильмену, постоянному секретарю Французской академии:

«Имею честь сообщить Вам, что я желаю быть включенным в число кандидатов на замещение одного из вакантных мест во Французской академии и прошу Вас сообразоваться довести до сведения Ваших коллег мое намерение на сей счет.

Возможно, я должен сообщить благожелательным академиком некоторые данные о себе: позвольте мне напомнить Вам о *сборнике стихов*, вызвавшем, правда, больше шума, чем хотелось бы; о *переводе* с целью популяризации ранее неизвестного во Франции великого поэта; о строгом и тщательном *исследовании* радостей и опасностей *возбуждающих средств*; и, наконец, назову множество *брошюр* и *статей* о крупнейших художниках и литераторах, моих современниках.

<...> Чтобы сказать всю правду, добавлю, что главная причина, побудившая меня просить о включении моего имени в список кандидатов уже сейчас, заключается в том, что, если бы я решил просить об этом лишь тогда, когда почувствую себя *достойным этой чести*, я бы не обратился с этой просьбой *никогда*. И потому подумал, что, быть может, начать лучше всего прямо сейчас; если мое имя известно некоторым из вас, то, возможно, дерзость моя будет встречена благосклонно, и те несколько голосов, которые я *чудом* получу, станут для меня великодушным поощрением и призывом к более успешным делам».

Отправив это письмо, Бодлер, как того требовал обычай, начал наносить визиты академиком и заставлял ближайших друзей, особенно Асселино и Флобера, просить за него везде, где только можно.



Он посетил Ламартина, который принял его довольно дружелюбно, затем Вильмена, встретившего его более чем холодно, потом еще нескольких академиков, в их числе Жюля Сандо, профессора Сорбонны Сен-Марка Жирардена и поэта, драматурга и политического деятеля Жана Вьенне. Последний поучал его в таких выражениях: «Существует только пять жанров литературы, сударь: трагедия, комедия, эпическая поэзия, сатира... и мимолетная поэзия, куда относятся басни, в *коих я большой мастер!*»

Но самое большое впечатление на Бодлера произвел визит к Альфреду де Виньи. В 1861 году Виньи было шестьдесят четыре года, и все значительные произведения, составившие его литературную славу, были давным-давно уже опубликованы: «Сен-Мар», «Чаттертон», «Стелло», «Неволя и величие солдат». Хотя он был болен, они беседовали с Бодлером у него дома целых три часа. Бодлер был ошеломлен и восхищен, а Виньи укрепил его в мысли, что «большой талант всегда предполагает большую доброту и исключительную терпимость».

Узнав о кандидатуре Бодлера, пресса словно с цепи сорвалась, в основном по причинам, не имеющим отношения к литературе. Так, журнал «Ревю анекдотик» уверял, что соискатель «занимается гаданием в тех обществах, где бывает, и губит журналы, в которых печатается», а газета «Фигаро» называла его «беспокойным» поэтом, полагая, что сочность его языка отдает духом скотобойни, и добавляла, что одной рукой следует листать «Цветы зла», а другой — затыкать нос. «Тентамар», со своей стороны, сообщала, что Бодлер принимал участие в «юмористической» лотерее, организованной руководителем редакции, и ему здорово повезло: он выиграл пропуск в академию.

«Кроник паризьен» задавалась вопросом, в какой академический отдел следует поместить Бодлера, так как речь идет о создании категорий по образцу Института<sup>[47]</sup> и согласно способностям каждого члена. Ни в отдел грамматики, ни в отдел романа, ни в отдел красноречия, ни в театральный отдел он не подходит... Возможно, его надо определить в отдел трупов? А еще ходили слухи, будто «свирепый» Бодлер питается экзотическими индийскими яствами и пьет перченые вина из черепа тигрицы, что под куполом Французской академии, местом очень почетным, было бы весьма неуместно.

В январе 1862 года Сент-Бёв опубликовал в журнале «Конститусьонель» статью о предстоящих выборах во Французскую академию, где в 1844 году сам он сменил Казимира Делавиня. Все в этой статье сводилось к Бодлеру, выставившему свою кандидатуру. Так, Сент-

Бёв писал о *безумии Бодлера*, который «на самом краю так называемой необитаемой земли языка построил себе странный домик, причудливый, вычурно украшенный и кокетливо-загадочный». Там, отмечал он, читают Эдгара По, опьяняются гашишем, одурманиваются опиумом и множеством других отвратительных зелий. Смогут ли эти «острые приправы и утонченные изыски» стать «документами», дающими право на возможные выборы? Но заканчивал Сент-Бёв уже в более мягком тоне:

«Несомненно одно: господин Бодлер выигрывает, когда его видишь воочию, ибо ожидаешь, что вот сейчас войдет странный, эксцентричный человек, а входит вежливый кандидат, почтительный, воспитанный, милый мужчина, с тонким чувством языка и совершенно классической внешностью».

Бодлер тут же откликнулся: в письме Сент-Бёву поблагодарил его за то, что он все поставил на свое место и положил конец ходившим о нем невероятным слухам. Например, его считали «бирюком и неприятным в общении человеком». У женщин он будто бы пользовался неважной репутацией из-за его «отталкивающей» внешности, вечно пьяного вида и... дурного запаха.

Прошло несколько недель, и, получив *авторитетный* совет от Сент-Бёва, Бодлер сообщил Вильмену, что снимает свою кандидатуру. В результате 20 февраля 1862 года почтенная академия избрала на освободившееся после смерти Лакордера место герцога Альбера де Броя.

## ГОДЫ БЕДСТВИЙ

Бодлер не отрицал: вынужденный отказ баллотироваться во Французскую академию был для него большим разочарованием, чуть ли не бесчестьем. Однако, против всякого ожидания, он обнаружил такое, что потрясло его еще больше, да просто ошеломило: у Жанны, которой Бодлер пытался помочь, несмотря на свои жалкие доходы, у Жанны нет и никогда не было брата! А негодяй, которого ей удалось выдать за брата, — на самом деле один из ее бывших любовников!

Это было предательством. Подлым вероломством, которому, однако, Бодлер мог противопоставить лишь свое отвращение и ярость. А вскоре, в который уже раз, и свое прощение.

Чтобы доказать Жанне, что он — само великодушие, Бодлер старался давать ей возможность общаться с людьми и, когда мог, брал ее, несмотря на увечье, в кафе и рестораны. Одно из таких заведений, закусочную «Павар» на улице Нотр-Дам-де-Лоретт, посещал до своей внезапной смерти в 1861 году несчастный Анри Мюрже, там же нередко встречались Жюль Барбе д'Оревилю, Шарль Асселино и Эдуар Мане.

Отношения между этим тридцатилетним художником и поэтом были самые дружеские и сердечные. Бодлер часто присоединялся к художнику в Тюильри и смотрел, как он работает на природе, всегда элегантно одетый, ловкий, с искрящимся взглядом. Нередко бывал Бодлер и в его мастерской.

Однажды, когда поэт пришел к нему вместе с Жанной, Мане воспользовался случаем, чтобы запечатлеть ее в широком белом платье с кринолином, с изможденным лицом, старую, полулежащую на софе<sup>[48]</sup>... А Бодлер тем временем несколькими штрихами карандаша на листе бумаги набросал портрет Жанны.

Академия, не пожелавшая принять его в свои ряды, Жанна, которая дурачила и обманывала его, внушавшее тревогу собственное здоровье, долги, с которыми ему не удавалось расплатиться, госпожа Опик, не спешившая расставаться со своими су — начало 1862 года весьма мрачно складывалось для Бодлера. Да еще в феврале умер его друг Поль Гашон де Молен, а в апреле Клод Альфонс, брат по отцу, в пятьдесят семь лет умер от кровоизлияния в мозг... Уже два десятка лет, как их пути разошлись и они больше не встречались, и все-таки это была еще одна скверная новость...

Есть ли способ противостоять бедствиям?

Писать, только писать. И писать на такие темы, которые он знает, а не сочинять романы или драмы.

Прочитав первую часть «Отверженных» Виктора Гюго, опубликованных в десяти томах почти одновременно в Париже и Брюсселе, Бодлер написал пространный отзыв для газеты «Бульвар», основанной в минувшем году карикатуристом и фотографом Этьенном Каржа. Он считал роман «книгой милосердия, то есть книгой, призванной возбуждать, пробуждать дух милосердия», книгой, которая ставит перед совестью читателей вопросы «социальной сложности» и являет собой «поразительный призыв к порядку, обращенный к самовлюбленному обществу, нимало не озабоченному бессмертным законом братства». В своем заключении он не мог устоять и не заговорить вновь о Первородном Грехе, написав эти два слова заглавными буквами, — прямой намек на Жозефа де Местра, человека, который подобно Эдгару Аллану По научил *сто рассуждать* и которому он был предан.

Однако эта статья была всего лишь проявлением любезности. Ибо Бодлеру «Отверженные» совсем не понравились, напротив, как совершенно откровенно писал он своей матери, «эта книга нелепа и отвратительна». И он отнюдь не собирался читать вторую ее часть, хотя Виктор Гюго отправил ему благодарственное письмо, в котором намеком предлагал написать новую статью.

«Сударь,  
написать блестящую страницу для Вас естественное дело, возвышенные и сильные слова возникают у Вас в голове подобно тому, как искры вылетают из пламени, и „Отверженные“ явились для Вас поводом для глубокого и возвышенного исследования.

Я благодарю Вас. Я уже не раз с удовольствием констатировал сходство Вашей и моей поэзии; все мы вращаемся вокруг великого солнца, вокруг *Идеала*.

Надеюсь, что Вы продолжите свою прекрасную работу об этой книге и тех вопросах, которые я пытался разрешить или, по крайней мере, поставить. Для поэтов честь — подносить людям наполненные светом и жизнью священные кубки искусства. Именно так Вы и поступаете, то же самое пытаюсь делать и я. Мы оба посвятили себя служению прогрессу с помощью Истины.

Жму Вашу руку».

Это письмо, датированное 24 апреля, Бодлер счел «смехотворным», доказательством того, что «великий человек может быть глупцом». Мир литераторов и художников, тот мир, который казался ему «чудесным и

приятным», теперь, на его взгляд, стал «отвратительным». У него такое ощущение, будто он живет в эпоху упадка, он уже не чувствует никакой близости со своими современниками, за исключением Барбе д'Ореви́льи, Флобера и достойного уважения Сент-Бёва. За исключением также Готье — это единственный человек, признавал Бодлер, кто понимает его, когда он рассуждает о живописи. И выход один: бежать от «человеческих лиц», то есть укрыться в каком-нибудь монастыре, например в Солем<sup>[49]</sup>, по поводу которого ученик Виллье де Л'Иль-Адан шепнул ему два-три словечка. Но главное, бежать от «французских лиц».

В сентябре в той же газете «Бульвар» Бодлер публикует коротенький очерк под названием «Живописцы и офортисы», в действительности второй вариант статьи, анонимно появившейся в апреле в «Ревю анекдотик». Живописцев, которых хвалит Бодлер, зовут Мане, Мерион, Легро, Йонгкинд, молодой американец Уистлер, в галерее Мартине он видел его офорты, изображающие берега Темзы, «чудесное нагромождение снастей, рей и тросов, хаос туманов, заводских труб и клубов дыма, глубокую и сложную поэзию большой столицы».

Заканчивается 1862 год так же, как начался: известием об очередном несчастье. На сей раз жертвой стал Огюст Пуле-Маласси. Вынужденный прекратить платежи, издатель был объявлен банкротом, настолько непрочным оказалось состояние его финансов и так велики были долги: авторам, другим книготорговцам, типографиям, производителям бумаги, таким как Кансон-Монгольфье, бумажные фабрики Марэ... И все это после публикации в числе двухсот названий нового издания сборников «Эмали и камеи» и «Цветы зла» (в два приема), «Искусственного рая», «Двойной жизни», произведений Леконта де Лиля, Барбе д'Ореви́льи, Шанфлёр и нескольких больших поэтических книг де Банвиля, в том числе сборника «Аметисты», коротких любовных од в честь Мари Добрен, ее «золотых волос», ее «розовых губ» и «белоснежной груди».

В своей газете Этьенн Каржа кричит о «незаслуженном крахе», ведь это банкротство затрагивает также писателей, «которых все читают и которым аплодируют».

Но это ничего не меняет: Пуле-Маласси арестовали и заключили в тюрьму в Клиши. Затем, в декабре 1862 года, перевели в тюрьму Маделонетт, расположенную на улице Фонтен-дю-Тампль в Париже.

## В ПОГОНЕ ЗА ИЗДАТЕЛЯМИ

После заключения Пуле-Маласси в тюрьму Бодлеру стало ясно, что публикация нескольких его произведений, которую взял на себя алансонский издатель, под угрозой. И стало быть, ему придется вновь вести переговоры, теперь уже с другими книготорговцами, начать все с нуля, словно он автор-дебютант.

В первую очередь Бодлер обратился к Мишелю Леви. В последнее время их отношения далеко не всегда были радужными, но и скверными назвать их было нельзя. Три тома переводов По — «Необыкновенные истории», «Новые необыкновенные истории» и «Приключения Артура Гордона Пима» — продавались хорошо, и можно было надеяться, что и два следующих тома — «Эврика» и «Истории смешные и серьезные» — тоже раскупятся быстро. Однако у Мишеля Леви были другие заботы и другие планы. Он собирался покинуть улицу Вивьен и открыть новый магазин в квартале Оперы. Кроме того, его сильно занимали неожиданный успех книги Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса» и выпуск в продажу «Саламбо» Гюстава Флобера, а также эссе и стихов Сент-Бё-ва, издания, которое тот считал «заключительным и завещательным».

Не добившись ответа, Бодлер обратился к Пьеру Жюлю Этцелю, которого все называли П. Ж. Этцель или просто Этцель. За плечами пятидесятилетнего Этцеля, обосновавшегося с 1860 года на улице Жакоб, добрых два десятка лет издательской деятельности. Он вынашивал множество планов и в 1862 году опубликовал первую книгу из серии «Необыкновенные путешествия», на которую возлагал большие надежды: «Пять недель на воздушном шаре» Жюля Верна, автора из Нанта, известного до тех пор своими либретто для оперетт.

В его богатом каталоге имелись также «Созерцания» и «Легенда веков» Виктора Гюго, «Война и мир» Прудона, сказки Перро с иллюстрациями Гюстава Доре и «Госпожа Тереза и волонтеры 92 года» лотарингских писателей Эмиля Эркман-на и Александра Шатриана. Этцель и сам писал под псевдонимом П. Ж. Сталь, он специалист по литературе для юношества и автор брошюр по вопросам издательской практики, в одной из которых, появившейся в 1854 году, говорилось о контрафакциях и мерах по борьбе с ними.

Бодлер и Этцель быстро договорились о трех произведениях: третьем дополненном издании «Цветов зла», томе стихотворений в прозе и

автобиографической книге, которая могла бы называться «Мое обнаженное сердце», причем тираж каждого из этих трех произведений должен был составить две тысячи экземпляров, то есть на пятьсот больше, чем предусматривалось договором с Пуле-Маласси. Во время переговоров с Этцелем Бодлер упомянул также о сборнике новелл, который, по его словам, он готов написать и предоставить через несколько месяцев. Он полагал, что сможет над ним работать в домике своей матери в Онфлёре.

Однако это соглашение ни к чему не привело. И не только потому, что Бодлер не спешил завершить свои проекты, а еще и потому, что банкротство Пуле-Маласси повлекло непоправимое разбазаривание его имущества. Без особых усилий теперь кто угодно за один франк мог завладеть вторым изданием «Цветов зла» и «Искусственным раем», а книжкой, принадлежавшей Теофилю Готье, за какие-нибудь пятьдесят сантимов. 22 апреля 1863 года 8-я парижская судебная палата по уголовным делам подтвердила наказание несчастному Пуле-Маласси в виде тюремного заключения. Основание: жульническое банкротство.

Сдерживала Бодлера также и госпожа Опик. Во всяком случае, она не поощряла его в работе над «Моим обнаженным сердцем» (книга существовала пока лишь в набросках), опасаясь, как бы произведение это, исполненное горечи, обиды, личных односторонних соображений и крайне резких суждений, не доставило ему серьезных неприятностей. Зачем выкладывать все? Зачем еще больше упрочивать репутацию *бирюка*? Откуда эта «жажда мести»? Откуда эта злоба и «отвращение» ко всей Франции?

Разве его положение улучшится, если он уедет за границу?

Бодлер считал, что да. В частности, он думал о Бельгии и Брюсселе, где находились Лакруа и Фербокховен, издатели «Отверженных», и где ему хотелось прочитать несколько лекций. Судя по тому, что рассказывал Бодлеру часто наезжавший в Париж по делам Артюр Стевенс, торговец бельгийскими картинами, два брата которого, Альфред и Жозеф, были художниками, лекторам в Брюсселе платили хорошо, и они собирали полные залы. Кроме того, газета «Эндепанданс бельж» испытывала будто бы потребность в острых перьях...

Бодлером полностью владела мысль совершить «экскурсию» в Бельгию хотя бы на несколько недель, когда он получил известие о смерти Делакруа, который умер 13 августа на шестьдесят пятом году жизни. Великий романтический художник оказал на него такое глубокое воздействие, так запал ему в душу, что Бодлер решил немедленно почтить его память обстоятельной статьей. Он предложил таковую журналу

«Опиньон насъональ», который опубликовал ее в трех выпусках — 2 сентября, 14 и 22 ноября 1863 года.

Бодлер уже немало написал о картинах почитаемого им художника, которым восхищался, и не боялся цитировать себя и даже воспроизводить целые пассажи из своей брошюры «Салон 1859 года». Тем не менее, дабы соблюсти меру, он вспоминал также и человека Делакруа, словно был с ним близок, словно ему по праву надлежало защищать его память, он подчеркивал присущую художнику «причудливую смесь скептицизма, учтивости, деспотизма и, наконец, своего рода особой доброты и сдержанной нежности, всегда сопутствующих гениальности».

«В Эжене Делакруа, — писал Бодлер, — было много *стихийного*; в этом и заключалась драгоценнейшая часть его души, часть, целиком отданная живописному воплощению его мечтаний и служению искусству. В нем было много и от светского человека; эта часть предназначалась для того, чтобы заслонить и искупить первую. Думается, одной из его насущных жизненных забот было стремление скрыть неистовые порывы своего сердца и внешне ничем не походить на гениального человека. Его властность, вполне закономерная и даже неизбежная, почти целиком пряталась за милой любезностью. Он напоминал кратер вулкана, искусно замаскированный букетами цветов».

Не обошел Бодлер молчанием и литературные работы Делакруа, обобщив свои наблюдения в краткой и емкой характеристике, что было ему свойственно и признавалось всеми его современниками: «Насколько Делакруа был уверен в себе, *выражая* свою мысль на холсте, настолько сомневался в своей способности *описать* то, что думал, на бумаге».

В ноябре Бодлеру удалось наконец договориться с Мишелем Леви, но не по поводу своих поэтических и критических произведений, а относительно переводов Эдгара По. Он полностью «уступал ему права» за определенную заранее сумму в две тысячи франков, а Мишель Леви уже готовил тем временем публикацию «Эврики».

Разумеется, такая сумма Бодлеру пришлось весьма кстати, ибо теперь он мог совершить «экскурсию» в Бельгию. Он непрестанно думал об этом и тем более серьезно, что Пуле-Маласси после своего освобождения уже месяц как обосновался в Бельгии, решив создать там новое издательство.



## ВСЕ ГЛУПОСТИ ВЕКА

Поехать в Брюссель. У Бодлера это стало навязчивой идеей, предметом всех его разговоров, основной темой переписки. И все-таки это не мешало ему работать. Он по-прежнему постоянно писал стихотворения в прозе, кое-что опубликовал в «Ревю насъональ э этранжер», которым руководил издатель Жерве Шарпантье, и через несколько недель после смерти Делакура, основываясь на черновике и подробных записях, которые вел с 1859 года, начал писать большой очерк о Константене Гисе. Или, вернее, о К. Г., Бодлер обозначает художника только его инициалами.

Причина? Уважение к пожеланию Константена Гиса, который как чумы избегал любой формы рекламы, терпеть не мог, когда о нем говорили, и не придавал ни малейшего значения своим произведениям, причем до такой степени, что лишь в очень редких случаях подписывал их и ставил даты. За смехотворную сумму он продал музею Карнавале триста своих рисунков, на редкость прекрасных и показательных. И десятки их подарил однажды Надару просто потому, что фотограф пришел в восторг, увидев некоторые из них.

Очерк под названием «Художник современной жизни» появился 26, 29 ноября и 3 декабря 1863 года в газете «Фигаро», то есть в той самой, которая положила начало судебному преследованию «Цветов зла». Разделенный на три главы, очерк представлял собой и эстетический трактат в духе «Салона 1859 года», и пламенную похвалу Константену Гису, человеку, который «шагает», который «стремится» и который «ищет».

«А что он ищет? — задавался вопросом Бодлер и сам же отвечал: — Он ищет то самое, что нам позволительно именовать *современностью*». Этот новый термин он определяет следующим образом: «...высвободить из моды то, что она может содержать поэтичного в историческом, <...> отделить вечное от преходящего». И Константен Гис представляется ему как творец, который, ни в коей мере не предлагая тривиального, реалистического видения, преображает реальность и выражает с помощью своих рисунков и акварелей «преходящую, мимолетную красоту современной жизни», его произведения призваны стать рано или поздно «бесценными архивами культурной жизни». С точки зрения Бодлера, нет ни малейшего сомнения в том, что Константен Гис выражает таким образом необычайный идеал денди. И этот денди может быть человеком «пресыщенным» или «больным», но никогда не будет «вульгарным». Ибо

что такое дендизм, если не слияние спиритуализма и стоицизма, если «не последний взлет героики на фоне последнего упадка?» — писал Бодлер.

Через два месяца после публикации «Художника современной жизни» газета «Фигаро», со всей очевидностью покоренная отныне талантом Бодлера, напечатала четыре из его стихотворений в прозе под общим названием «Парижский сплин». Редакция анонсировала, что вскоре будут опубликованы и другие подобные произведения того же автора, и действительно, на следующей неделе, 14 февраля 1864 года, были напечатаны еще два. А потом — ничего. И когда Бодлер попытался узнать, что случилось, ему ответили, что его стихи «всем наскучили». Этого было достаточно, чтобы он взорвался, с отвращением заклеил глупость французской литературной среды и утвердился в намерении как можно скорее уехать в Бельгию.

А почему бы не с Бертой, женщиной, лишенной обаяния и привлекательности, с которой он познакомился на танцах и в которую влюбился?

Может ли стать, что в сорок три года он встретил большую любовь?

Может ли стать, что эта женщина навсегда заставит его забыть о притонах и сомнительных заведениях?

Пока он готовился к путешествию и через Альфреда Стевенса устанавливал предварительные связи в Брюсселе, друзья Виктора Гюго прислали Бодлеру письмо, в котором просили его присутствовать на большом банкете в честь празднования трехсотлетия Шекспира. Ему сообщали, что автор «Созерцаний» хотя и пребывает сейчас на острове Гернси, но будет почетным председателем собрания.

Бодлер тотчас предупредил организаторов, что не сможет там присутствовать. Ввиду вынужденного отъезда в Брюссель, — уточнял он. Однако это было всего лишь предлогом; в действительности он был недоволен тем, что Виктор Гюго не соизволил походатайствовать за него перед издателями «Отверженных». По крайней мере, насколько ему было известно, ни Альбер Лакруа, ни Эжен Фербокховен пока никак не проявили себя...

Поэтому он пишет главному редактору «Фигаро», чтобы изобличить невероятную *глупость, лицемерие, смехотворность* этого чествования, и с горечью отмечает, что до сего времени во Франции никому и в голову не пришло отпраздновать годовщину рождения Шатобриана или Бальзака. По его словам, «истинная цель этого шумного юбилея» заключается в том, чтобы «подготовить и подогреть успех» книги о Шекспире, которую Виктор Гюго собирался опубликовать у Лакруа и Фербокховена, книги,

«набитой красотами и глупостями», которые, «возможно, еще более разочаруют его самых искренних почитателей».

Бодлер плохо представлял себя на сборище, где будут поднимать тосты за Жана Вальжана, за отмену смертной казни, за *Всеобщее братство*, за распространение просвещения, за «истинного Иисуса Христа, законодателя христиан», за Эрнеста Ренана, короче, за «все глупости, свойственные девятнадцатому веку», в лоне которого он имеет «утомительное счастье жить», где каждый «лишен естественного права *выбирать своих братьев*», к тому же там не будет места для «прекрасных плеч, прекрасных рук, прекрасных лиц и блестящих туалетов», ибо женщин на праздник не допустили.

В номере от 14 апреля газета «Фигаро» поместила это открытое письмо Бодлера, не предварив его никакой подписью и не поставив ее в конце. И не без причины: Бодлер говорил в этом письме и о собственном случае, но в третьем лице. Он упоминал, что стал известен благодаря своему пристрастию к англосаксонской литературе, но что к нему с пренебрежением относятся как «господа заправила от демократической литературы», так и «эта шумная толпа молокососов, поглощенных своими делами», они понятия не имеют о том, что «такой-то старичок, которому они многим обязаны, пока еще не умер».

Двадцать четвертого апреля Бодлер сел в поезд, идущий в Брюссель.

## ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ

Бодлер остановился в гостинице «Гран-Ми-руар» на улице Монтань, одной из самых старинных и самых значительных артерий бельгийской столицы, как принято говорить — в нижнем городе, в противоположность верхнему городу. На улице приютился главный почтамт, небольшое здание, где окошечки для выдачи писем и продажи марок находились в стенах круглого зала. Неподалеку располагалась и красивая часовня Святой Анны, варварски разрушенная во время Французской революции и возвращенная Церкви лишь в 1814 году. Напротив возвышалась харчевня «Катр-Со», на ее фасаде, как на большинстве старых брюссельских зданий, — хронограмма на латыни. В ней говорилось, что в 1563 году в Брюссель впервые был доставлен слон и что отважный погонщик слонов проживал здесь, после того как был принят Маргаритой Пармской.

А гостиница «Гран-Мируар», внешне выглядевшая далеко не блестяще, гордилась тем, что была построена в 1286 году, а в 1419-м принимала Маргариту Бургундскую и ее дочь, Жаклину Баварскую, жену Иоанна IV, герцога Брабантского. Это всем известное заведение, тем более известное, что улица Монтань<sup>[50]</sup>, идущая под уклон, как указывает ее название, долгое время была частью большой и очень оживленной дороги, пересекавшей Брюссель с севера на юг и соединявшей как раз нижний и верхний город. Гостиница предоставляла путешественникам пять вполне комфортабельных комнат и питание три раза в день либо за общим столом на первом этаже, либо, по желанию, в номере.

В гостинице «Гран-Мируар» Бодлера поселили на третьем этаже, с задней стороны здания, где, по счастью, не было слышно уличного шума. Из окна открывался вид на огромную стеклянную крышу галереи Сент-Юбер длиной в 215 метров, сооружение ее закончилось в 1847 году. Бодлер с волнением думал о том, как пройдет по этому элегантному пассажию. Затем отправится на Гран-Плас, именуемый также площадью Ратуши, где, кроме указанного строения, несомненно архитектурной жемчужины Брюсселя, стоят Королевский дом (некогда хлебный рынок) и старинные цеховые дома, отстроенные вновь в XVIII столетии после обстрела в 1695 году герцогом де Вильруа по приказу Людовика XIV.

Бодлер испытывал такое волнение потому, что, по сути, не имел ни малейшего опыта перемещений за границу, единственным его странствием за пределы Франции было вынужденное плавание на судне в

двадцатилетнем возрасте до острова Бурбон. В этом он никак не походил на писателей романтического поколения, которых, почти всех, влекли путешествия по примеру прославленного Шатобриана. Точно так же как не был похож на писателей, родившихся, как и он, в 1820-х годах, таких как Гюстав Флобер, Максим Дю Кан или Надар. Впрочем, не большим опытом он обладал и в поездках по Франции, за исключением коротких набегов в Шатору и Дижон в 1848 и 1849 годах, и недавних *отступлений* в Онфлёр через Гавр.

Очень скоро, спустя два или три дня, Брюссель предстал перед ним как город весьма разнородный, со смешением всевозможных стилей, где великолепие соседствовало с дешевыми поделками. Ему довелось увидеть там «архитектурные нелепости», подделку, обнаружить, что церкви порой похожи на «лавки древностей», его поражала безжизненность улиц, пропитанных запахом жидкого мыла, удивляли гигантские вазы и статуи на крышах домов и множество балконов, на которых он никогда никого не замечал...

Однако в Бельгию Бодлер приехал не для того, чтобы совершать приятные прогулки, а чтобы прочитать цикл лекций в Кружке художников и литераторов. Это объединение имело целью «создать центр для собраний друзей искусства и литературы, а также видных деятелей науки, искусства и литературы своих и зарубежных». Пережив с 1850 по 1855 год блестящую эпоху, кружок этот впоследствии несколько сник, но, по словам Артюра Стевенса, за последние один-два года снова обрел силу и, в частности, лекции, организованные его стараниями, снова собирали широкую заинтересованную аудиторию. У кружка было свое помещение на втором этаже Королевского дома на Гран-Плас, где он располагал читальным залом, получавшим лучшие газеты и журналы, и где периодически устраивал различные художественные выставки. Именно там поэта ждали 2 мая 1864 года. Тема его первой беседы: Эжен Делакруа, художник и человек.

Лекция прошла успешно. Бодлер остался доволен, вот только сожалел, что ни Альбер Лакруа, ни Эжен Фербокховен не пришли послушать его.

Как уже говорилось, Париж его заставило покинуть не только чтение лекций в Брюсселе, но и намерение начать переговоры с издателями «Отверженных» и попытаться продать им за хорошую цену два или три тома критических статей. Он вспоминал о грандиозном успехе этой книги, обогатившей двух компаньонов, и о том, что после представления рукописи они без колебаний выплатили Виктору Гюго 125 тысяч франков в английском золоте. Сумма колоссальная, о которой можно только мечтать.

Одиннадцатого мая Бодлер читает в Кружке художников и литераторов вторую лекцию, на этот раз о Теофиле Готье, который в 1836 году вместе с Жераром де Нервалем посетил Бельгию и, по своему обыкновению, подробнейшим образом написал об этом. Увы, на лекции присутствовало человек двадцать, не больше, да и то... Среди них — молодой бельгийский писатель двадцати лет, Камиль Лемонье; восхищенный, покоренный, он слушал лекцию Бодлера так, словно то была волнующая проповедь священнослужителя, пастырское послание епископа, овеянное чуть ли не евангельской благодатью.

«Через час ряды слушателей еще более поредели, пустота вокруг кудесника Слова все ширилась, заполненными оставались всего две скамьи. Потом и они опустели; лишь несколько спин горбились, отягощенные непониманием или дремотой. Возможно, те, кто остался, были движимы милосердным порывом, подобно прохожему, который в мрачном поле следует за одиноким катафалком. А возможно, это были привратники или господа из Комиссии по иностранным делам, которых удерживал на посту профессиональный долг»<sup>[51]</sup>.

Неудача настолько была очевидна, что руководители кружка предложили Бодлеру весьма скромный гонорар. Чуть ли не пятьдесят франков за эту лекцию и за предыдущую, в то время как он надеялся получить в четыре раза больше. Но так как ему во что бы то ни стало хотелось, чтобы о нем заговорили и чтобы Лакруа и Фербокховен — или по крайней мере один Лакруа — пришли послушать его, он согласился прочитать бесплатно еще три лекции.

Через десять дней состоялась третья — о Томасе Де Куинси и искусственном рае, а на следующей неделе — еще две на ту же тему. И каждый раз перед весьма малочисленной аудиторией, причем ни Лакруа, ни его компаньон так и не появились, хотя их приглашали должным образом, и все это несмотря на объявления в основных либеральных газетах, таких как «Эндепанданс бельж», «Этуаль бельж» и «Эко де Брюссель». Зато в прессе правого толка — ни слова, католические круги обычно плохо относились к деятельности кружка.

Крайне возмущенный Бодлер изобретает для себя новую болезнь: бельгофобию.

## ЛЮДИ И ВСЕ ПРОЧЕЕ В БЕЛЬГИИ

Но еще больше разожгло и усилило терзавшую Бодлера нелюбовь к Бельгии то фиаско, какое потерпела самая последняя его лекция, состоявшаяся 13 июня 1864 года на улице Нёв у богатого маклера Проспера Краббе. В трех огромных салонах, освещенных люстрами и канделябрами, украшенных великолепными картинами, с абсурдным изобилием пирожных и вин, собралось человек десять, половину из которых пригласил сам хозяин...

Еще более отягчающее обстоятельство: за несколько дней до этого Лакруа и Фербокховен отказались от трех критических сборников, которые Бодлер приехал им предложить. Возможно, им стало известно, что именно он автор напечатанной в апреле в «Фигаро» анонимной статьи, посвященной книге Виктора Гюго о Шекспире...

С этой минуты Бодлер возненавидел Бельгию. Почти сразу же он решил выразить свою неприязнь к стране и ее населению в весьма недружелюбном произведении. Он придумал восемь названий своей будущей книги, четыре для страны и четыре для Брюсселя: «Смехотворная Бельгия», «Настоящая Бельгия», «Бельгия без прикрас», «Бельгия в истинном свете», «Смешная столица», «Смехотворная столица», «Столица обезьян» и «Обезьянья столица».

Бодлер разбушевался. Он обрушился на все бельгийское. На людей, «глупых, лживых, вороватых» — это «куча негодяев», полагал он, которые хохочут без причины, веселятся все скопом, при ходьбе косолапят ноги, походка у них тяжелая, они самонадеянны, презирают знаменитых людей, а в иерархии живых существ их место «между обезьяной и моллюском».

На отсутствие кокетливости и стыдливости у женщин, у всех у них жирные ноги, жирные руки, жирные икры и жирная грудь. На бельгийскую кухню, чересчур соленую, «отвратительную и примитивную». На уличные гулянья и варварство детских развлечений. На общественное образование и всеобщую нелюбовь к чтению.

На разговоры и дурацкие обороты речи бельгийцев (например, употребление глагола *уметь* вместо *мочь*). На свойственную им глупейшую привычку *отчитывать* свою прислугу на фламандском. На их безбожие. На их нелюбовь к священнослужителям и культ Свободной Мысли. На их избирательные нравы и политическую коррупцию, которую они провоцируют. На их государя, скупого и недалекого Леопольда, «жалкого

немецкого князька», конституционного короля, превратившегося в «автомат в меблированном особняке». На армию, где «продвижение возможно лишь путем самоубийства».

На искусства, исчезнувшие из страны, если предположить, что когда-нибудь они там существовали, ибо даже Рубенс, представлявший величие, это «хам, затянутый в атлас» и «источник пошлости». На то, как обсуждают живопись.

«Манера, в какой бельгийцы обсуждают достоинство картин. Цифры, все время цифры. Это продолжается три часа. После того как за три часа они перечислят цены продаж, им кажется, что они обсудили живопись.

И потом, картины надо прятать, чтобы придать им ценность. Взгляд изнашивает картины.

Здесь каждый — торговец картинами.

В Анвере любой процелыга занимается живописью.

Предпочтение отдают маленькой картине. К большой — презрение», — писал Бодлер в книге «Бельгия без прикрас».

Безжалостного осуждения Бодлера избежали лишь некоторые художники. В частности, Анри Лейс, живописец истории, вроде Делакруа, — он проиллюстрировал летопись Бельгии и своими портретами выразил некую тайну душ; дебютант Альфред Верве, первые картины которого были выставлены в 1863 году, а также братья Стевенсы, Жозеф в большей степени, чем Альфред, у которого Бодлер оценил тем не менее гармонию оттенков.

С Верве и Стевенсами и еще с их другом фотографом Шарлем Нейтом он обычно встречался на узкой улочке Вилла-Эрмоза, неподалеку от Королевской площади, в таверне «Пренс-де-Галль», где собирался небольшой кружок почтительных поклонников и где за разговорами, сопровождавшимися веселыми возлияниями с помощью бельгийского пива и можжевелевой настойки, Бодлер мог забыть о своих гневных вспышках и ненависти к обезьянам.

Однако больше всего из бельгийских художников ему нравился Фелисьен Ропс. Этот двадцатидевятилетний намюрец начал свою карьеру с карикатур, испытывая влияние одновременно и Домье и Гаварни, потом принялся за офорты и начиная с 1862 года разрабатывал в основном эротические сюжеты, если не сказать скабрзные, причем с отчаянной смелостью, насмешкой, воображением и юмором. Бодлер познакомился с ним в Париже через Огюста Пуле-Маласси, и его сразу же поразили остроумие его рисунков, живость, с какой он делал наброски своих персонажей, в том числе именитых людей, и щемящее ощущение мрачного,



в равной степени свойственное и самому Бодлеру, о чем свидетельствуют многие стихи «Цветов зла». Поэтому он был рад снова встретиться с Фелисьеном Ропсом в Брюсселе на каком-нибудь ужине и съездить иногда вместе с ним в Намюр, маленький городок в «иезуитском» стиле, который произвел на него гораздо лучшее впечатление, чем Брюссель.

Но что все-таки удерживает его в Брюсселе, если там он настолько неудовлетворен и несчастен? Безусловно, необходимость собрать материал о городах, в которых он еще не побывал (Брюгге, Гент, Мехелен, Льеж...), так как его не покидала мысль написать книгу об этой стране. Определенная неловкость вернуться во Францию ни с чем и наверняка страх предстать перед своими кредиторами. Да и здоровье тоже: постоянные диареи, сердцебиения, колики в желудке, бессонница, приступы лихорадки...

В начале сентября Бодлер узнал, что в Брюссель должен приехать Надар, собиравшийся в честь тридцать четвертой годовщины независимости Бельгии осуществить над городом полет на воздушном шаре. И он тут же решил, что уедет в Париж вместе с ним сразу после праздника.

Событие было грандиозное. 26 сентября 1864 года гигантская толпа теснилась за ограждениями, специально сооруженными ради такого случая. Люди с восхищением наблюдали за воздушным шаром Надара, названного «Гигантом», ожидая, когда он поднимется в воздух в присутствии короля. Бодлеру друг предложил тоже занять место в корзине аэростата, но он, испугавшись, отказался. Около шести часов вечера аэростат поднялся. И лишь к полуночи приземлился между Ипром и Северным морем.

Двадцать девятого сентября Надар пригласил Бодлера на прощальный банкет в гостиницу «Этранже» по улице Фоссео-Лу, находившуюся неподалеку от церкви Августинцев, единственной брюссельской церкви, где не было колокола. На банкете присутствовали оба сына Виктора Гюго, Франсуа и Шарль, руководитель газеты «Эндепанданс бельж» Леон Берарди, только что назначенный бургомистр Брюсселя Жюль Анпаш, молодой помощник фотографа-аэронавта Жорж Барраль... И это пиршество закончилось в *сластолюбивой* компании.

На следующий день Надар и Барраль вернулись в Париж, но Бодлера с ними не было.

## ВРЕМЯ СКУКИ

Шли дни, недели, подходил к концу 1864 год, а Бодлер все более нищал. За пансион в гостинице «Гран-Мируар» он задолжал за три месяца и понятия не имел, как сможет расплатиться и справиться со всеми расходами, связанными с его пребыванием в Бельгии. Ему едва хватало денег на пропитание и на марки для писем, которые он продолжал посылать разным адресатам во Францию. Среди них — госпожа Опик, чье здоровье оставляло желать лучшего, а также парижский литературный агент Жюльен Лемер, с которым Бодлер познакомился в 1846 году в «Диван Лепелетье» и которому поручил вести переговоры с издателем об уступке прав на некоторые из его книг.

И конечно, существовал неизбежный Нарсисс Дезире Ансель, единственный человек, который по закону мог обеспечивать его средствами. И Бодлер в который уже раз умолял его прислать деньги. Он уверял, что, как только получит их, сразу расплатится со всеми долгами в Бельгии и в середине декабря вернется в Париж. Обещал. Клялся.

Ансель выслал ему требуемую сумму, но Бодлер уклонился от выполнения взятого обязательства. Сознавая некорректность своего поведения, он отправил Анселю письмо с *объяснениями*.

«В последний момент, в минуту отъезда, — писал Бодлер, — несмотря на желание вновь увидеть мою мать, несмотря на страшную скуку здешней жизни, скуку еще более неодолимую, нежели та, в которую меня погружала французская глупость и от которой я так *страдал* столько лет, *меня охватил ужас, жуткий страх*, страх снова погрузиться в мой ад — пройти по Парижу, не имея уверенности в том, что смогу раздавать там деньги направо и налево, что обеспечило бы мне истинный отдых в Онфлёре. И тогда я написал письма в газеты и друзьям в Париже, а также человеку, которому поручил мои текущие дела, то есть продажу четырех томов, тех самых, которые я так *credulously*<sup>[52]</sup> приехал предложить этому гнусному Лакруа».

Да, в Бельгии он скучал ужасно, чудовищно, а тех, кто был способен развлечь его, можно пересчитать по пальцам: Стевенсы, Фелисьен Ропс, Огюст Пуле-Маласси... Прожив какое-то время на улице Миди в Брюсселе, тот нашел себе пристанище на юго-западе столицы, в тихом пригороде Иксель на улице Мерселис. Он издавал эротические и упадочные книги, некоторые ограниченным тиражом с непристойными фронтисписами

Ропса, и дом, где он проживал, стал проходным двором, что совсем не нравилось обитателям квартала. Кое-кто хотел даже обратиться в полицию... Два-три раза в неделю Бодлер приходил к Пуле-Маласси ужинать и соглашался выполнять мелкую издательскую работу в надежде, что это принесет ему хоть немного денег.

С февраля 1865 года иногда его приглашали также к столу госпожи Виктор Гюго, проживавшей тогда на улице Астрономи, а ее августейший супруг по-прежнему находился в изгнании на своей скале на острове Гернси. Принимали Бодлера там неплохо: ведь о нем так хорошо отзывался Сент-Бёв, и это общество ему, пожалуй, нравилось, несмотря на то, что старая дама порой казалась ему глупой, а двое сыновей, Франсуа и Шарль, нередко раздражали его. Особенно когда чуть ли не хором перебирали гуманитарные идеи и всерьез обсуждали интернациональное воспитание.

В этом бельгийском королевстве, которое он ненавидел и которое порождало у него скуку, у Бодлера, по правде говоря, сердце не лежало к работе. Написал он мало — одно или два стихотворения в прозе для будущего своего сборника «Парижский сплин», где ему хотелось бы собрать добрую сотню текстов (хотя до сих пор он сочинил лишь пятьдесят), и сделал всего два перевода По («Система доктора Смоля и профессора Перо» и «Коттедж Лэндора»), а тем временем в марте Мишель Леви выпустил в продажу пятую книгу американского писателя — «Истории смешные и серьезные».

Бодлер делает и другие записи для своей книги о Бельгии, которую теперь предполагал назвать «Бедная Бельгия» и для которой собирал кучи газетных вырезок... Впрочем, за этими вырезками он проводит большую часть времени в своем гостиничном номере. Он их разбирает, делает пометки, старательно подчеркивает пассажи, которые кажутся ему достойными внимания: политические речи, судебная хроника, литературные рецензии, заголовки новостей, бóльшая часть которых касалась Свободной Мысли, эта тема его сильно занимала...

В начале июля Бодлер был очень удивлен: Пуле-Маласси, и сам оказавшийся в тяжелом положении из-за больших материальных проблем, внезапно потребовал у него возвращения старого долга, касающегося «Цветов зла», и угрожал в случае промедления передать это долговое обязательство другому издателю, одному из своих бывших служащих, Рене Пенсбурду.

Испугавшись, что этот человек, которого он терпеть не мог, завладеет всеми его произведениями, Бодлер тотчас же уехал в Париж. Добравшись до места, он поселился в гостинице неподалеку от Северного вокзала. В

последующие дни он нанес визит Анселю, затем отправился в Онфлёр повидать мать. Сообщив ей о своем бедственном положении, он без особых затруднений выпросил у нее две тысячи франков, но Пуле-Маласси требовал пять тысяч...

Вернувшись в Париж, Бодлер остановился на улице Дуэ у Катюля Мендеса, на которого, так же как на Камиля Лемонье в Брюсселе, произвел впечатление епископа «в изысканной мирской одежде», вид у него был высокомерный, «почти пугающий по причине несколько испуганного поведения». Побеседовав с Жюльеном Лемером, продолжавшим вести переговоры с издателями, без особых, правда, результатов, Бодлер встретился затем с Теодором де Банвилем, Шарлем Асселино, Эдуаром Мане, Теофилом Готье...

Все уговаривали его не оставаться в Бельгии. Они не могли понять его «мании» засиживаться в стране, которую он ненавидит и где ему плохо. И задавались вопросом, что может его удерживать, привязывать, приковывать к этому молодому королевству, где культурная жизнь отнюдь не процветала, где писатели, которых было немного, вовсе не заслуживали никакого внимания и где Бодлер с тех пор, как там обосновался, написал всего несколько строк — стихотворение в прозе «Добрые псы», посвященное Жозефу Стевенсу и опубликованное в газете «Эндепанданс бельж» в июне 1865 года.

А не было ли это извращенным удовольствием — рассказывать, как он там скучает и как сама скука доставляет ему нездоровую радость?

А может, истинной причиной и был как раз тот страх, жуткий страх жить в Париже и не быть там *прославленным* человеком, каковым он всегда мечтал стать?

Да к тому же еще страх явить близким печальное зрелище своего физического упадка?

Если уж надо страдать, без конца прибегать ко всевозможным лекарственным средствам — дигиталису, белладонне, если приступы не прекращаются, следуя один за другим, не лучше ли спрятаться, зарыться где-нибудь и ждать своей кончины в тени, вдали от родных и товарищей...

Не обращая внимания на их удивление, не отвечая на их слова, Бодлер возвращается 15 июля в Брюссель и вновь занимает свою комнату в гостинице «Гран-Мируар».

## «ТЛЕН СРЕДИ ТЛЕНА» [53]

Десятого декабря 1865 года Бельгия потеряла своего государя Леопольда Саксен-Кобургского, родившегося в Германии в 1790 году и ставшего королем бельгийцев после решения, принятого Национальным конгрессом 4 июля 1831 года.

Какое-то время Бодлера занимает его кончина, он вырезает из газет все статьи, где об этом идет речь, и сочиняет желчную эпитафию, а также два коротеньких стихотворения, первое из них откровенно выражает неприязнь, которую поэт всегда испытывал к этому персонажу.

Разумеется, эта поэзия была не слишком высокого полета. Во всяком случае, у этих стихов мало общего с «Цветами зла», которые вслед за Огюстом Виллье де Л'Иль-Аданом открыли для себя Альбер Глатиньи, Леон Кладель и Катюль Мендес, а также другие молодые авторы. В особенности некий Стефан Малларме двадцати трех лет, превозносивший Бодлера в напечатанной в журнале «Артист» статье, и некий Поль Верлен, ему двадцать один год, его восторженная хвала была опубликована в новом парижском еженедельнике «Ар». Казалось, эти авторы отвернулись от «великого поэта», каким был Виктор Гюго, и других ведущих поэтов пышной романтической эпохи, чтобы пойти по пути, начертанному Бодлером, и черпать вдохновение в его произведениях.

Однако такое проявление восторга и почти слепого преклонения пугает Бодлера. Ему прежде всего хотелось, чтобы его произведения поступали в книжные магазины и чтобы их читало как можно больше людей. И так как он в конце концов понял, что Жюльен Лемер плохой переговорщик, то попросил Нарсисса Дезире Ансея согласиться стать его литературным агентом в Париже. Впрочем, Бодлер передал ему точный список издателей, которые могли бы подойти, снабдив каждое имя коротким комментарием: Леви, которому он уже предлагал все свои книги и которого охотно именуется монстром, Ашетт, «крупный, солидный издательский дом», Фор — очень «хороший выбор», Амьо — «хороший, но на крайний случай», Дидье — то же самое, и Дантю, которому, уточнял Бодлер, безусловно, должен понравиться проект «Бельгии без прикрас», так как цель этой сатирической книги — «насмешка над всем, что зовется *прогрессом*» и что сам он именуется «язычеством глупцов».

Обратившись с такой просьбой к семейному нотариусу, Бодлер через две недели снова едет в Намюр и вместе с Пуле-Маласси посещает церковь

Сен-Лу. Эта церковь, построенная в XVII столетии в присутствии иезуитов в стиле, с двенадцатью массивными дорическими колоннами красного мрамора, с плитами черного мрамора, покрывающими стены клироса, и арками со скульптурной резьбой, была одним из тех бельгийских памятников, которые Бодлер больше всего ценил. Любопытная достопримечательность: там все еще можно различить отверстие от ядра времен осады города в 1692 году.

Внезапно у Бодлера началось головокружение. Он с трудом мог шевелиться, и через несколько часов его доставили в Брюссель в гостиницу «Гран-Мируар», где два дня он, не двигаясь, пролежал на спине, не в силах выговорить членораздельную фразу. Вскоре приехал доктор Оскар Макс, к которому Бодлер уже обращался, и установил начало паралича правой стороны.

В Париже одним из первых новость узнал Ансель. Всегда аккуратный и точный, безукоризненно честный, он поспешил в Брюссель, захватив с собой деньги на случай ухода, который мог понадобиться Бодлеру. Со своей стороны, Асселино и Сент-Бёв посоветовались каждый со своим врачом, чтобы узнать, какие рекомендации следует передать в Брюссель. И госпожа Виктор Гюго, которую тоже предупредили, потребовала, чтобы ее личный доктор поспешил к больному поэту.

Хотя Бодлер смог еще продиктовать несколько писем, потеря речи происходила так быстро, что 3 апреля 1866 года его пришлось перевезти в содержавшуюся монахинями клинику Сен-Жан-э-Сент-Элизабет на улице Сандр, вблизи Ботанического сада. В его карточке в приемном покое монахини поместили, что возраст больного сорок пять лет, по профессии он литератор и страдает апоплексией.

В отведенные для посещения часы его ежедневно навещали друзья: братья Стевенс, Шарль Нейт, одним из последних сфотографировавший поэта, Пуле-Маласси, Ропс...

И, наконец, в сопровождении своей верной служанки приехала семидесятитрехлетняя госпожа Опик. Обе женщины поселились в гостинице «Гран-Мируар», куда вскоре привезли Бодлера и где он продолжал принимать самых близких друзей. Да, он утратил дар слова, да, он наполовину парализован, но по-прежнему сохраняет часть умственных способностей. Он понимает, что происходит вокруг, что с ним самим происходит. Он узнает голоса и лица. У него хватает сил совершать прогулки в экипаже по окрестностям Брюсселя, в многолюдное селение Юккель или на опушку леса Суаньи.

Он еще сохранил способность выражать свою радость, поистине

детскую радость, когда в конце апреля Пуле-Маласси показал ему «Обломки». Фронтиспис для этой книжечки, выпущенной тиражом в двести шестьдесят экземпляров с ложным указанием издательства «Петух», выполнил Ропс, в нее вошли двадцать три стихотворения: «Романтический закат» в качестве вступления, шесть осужденных стихотворений из «Цветов зла» и четыре раздела, названные соответственно «Любезности», «Надписи», «Разные стихотворения» и «Буффонада». Все вместе выглядело несколько неровно, но это никак не могло повредить репутации Бодлера.

Увидев, что здоровье сына немного улучшилось, госпожа Опик решила отвезти его в Онфлёр, в тот самый «домик-игрушку», где он написал несколько лучших своих произведений. Однако находившийся в сознании Бодлер напомнил, что у него в Брюсселе остались кое-какие дела и до отъезда во Францию надо бы их уладить: выкупить заложенные в ломбарде часы, которыми он дорожил, забрать у переписчика стихи и расплатиться с мелкими долгами в разных брюссельских кабачках.

Двадцать девятого июня поседевший, с изможденным лицом Бодлер, с трудом опираясь на трость, сошел вместе с матерью с поезда на Северном вокзале в Париже, его поддерживал Артюр Стевенс. В багаже находились его книги и бесценные рукописи. Два дня он провел в гостинице, затем больного перевезли в лечебницу доктора Эмиля Дюваля, известного специалиста в области гидротерапии, она находилась на улице Дом, неподалеку от Триумфальной арки.

По инициативе Асселино многие писатели поставили свою подпись под прошением к министру народного образования Виктору Дюрюи с просьбой предоставить Бодлеру пособие «для покрытия расходов, связанных с лечением, необходимым при его состоянии здоровья». Эта помощь, уточнялось в прошении, была бы вполне оправданна, «поскольку писатель открыл для Франции самого прекрасного литературного гения Нового Света и вот уже двадцать лет сотрудничает с редакциями крупнейших газет и журналов». Среди тех, кто поставил свою подпись под этим прошением, три *прославленных* академика: Жюль Сандро, Проспер Мериме и *неизменный* Сент-Бёв. В октябре пособие было выделено.

Теперь Бодлер был прикован к постели, и госпожа Опик, не в силах помочь чем-либо сыну, вернулась в свой нормандский дом. Верные друзья — Надар, Банвиль, Шанфлёри и Асселино — сменяют друг друга в его комнате, пытаясь скрасить печальные дни поэта. Часто навещает Бодлера Аполлония Сабатье, Президентша, и подолгу сидит подле него.

Что касается Жанны... Никто не знал, где она, уже полтора года никто из окружения поэта ее не видел ни в Париже, ни где-то еще.

Время шло, безжалостное, неумолимое, суровое, мрачное, пугающее, и вот уже Бодлер не может произнести больше двух-трех слов, с трудом выговаривает дрожащим голосом «проклятье» или что-то односложное, а дальше — едва уловимое движение век и губ.

Из «дома-игрушки» поспешила приехать мать Бодлера. Она заботилась о нем, не выпускала его руки, безутешная сиделка, она говорила ему что-то иногда едва слышно, предаваясь далеким смутным воспоминаниям, застыв в безмолвном ожидании.

В пятницу 30 августа 1867 года она пригласила священника и смиренно попросила его соборовать сына. И стала молиться. Сложив руки, со слезами на глазах она молилась Богу и всем святым.

На следующее утро, около одиннадцати часов, когда Бодлер умер у нее на руках и она навеки закрыла ему глаза, госпожа Опик все еще не знала, что сорок шесть лет и четыре месяца назад она дала жизнь одному из величайших чародеев от литературы.



## ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ШАРЛЯ БОДЛЕРА

1821, 9 апреля — в Париже в семье Жозефа Франсуа Бодлера и Каролины, урожденной Дюфаи, родился сын Шарль.

1827, 10 февраля — умер отец Шарля, Жозеф Франсуа Бодлер.

1828, октябрь — мать Шарля выходит замуж за офицера Жака Опики.

1832 (или 1833) — семья переезжает в Лион. Шарль поступает в пансион Делорм, затем в Королевский коллеж. Преподаватели отмечают его увлечение поэзией.

1836 — семья переезжает в Париж. Шарль поступает в лицей Людовика Великого.

1839 — Шарля Бодлера отчисляют из лицея за плохое поведение. Подготовившись экстерном, он успешно сдает экзамены на звание бакалавра.

1840 — Шарль не может определиться с выбором карьеры, начинает вращаться в самых низких слоях общества. В результате беспорядочных связей заражается сифилисом. Испытывая изнуряющие головные боли, начинает принимать все более сильные наркотические средства.

В пансионе Эмманюэля Байи, где он поселился, находит друзей, увлекающихся поэзией. Начинает вести богемный образ жизни.

1841 — Шарль устраивает скандал в семье, и отчим отправляет его за недостойное поведение в путешествие в Индию.

19 октября — Бодлер прерывает путешествие, оставшись на острове Бурбон с намерением вернуться в Париж. Пишет стихи «Креолке» и другие.

4 ноября — отплывает во Францию.

1842 — по прибытии в Париж начинает карьеру писателя и примыкает к литературно-художественному кружку Надара.

1844 — вступает в любовную связь с актрисой Жанной Дюваль. Ведет расточительную жизнь, вследствие чего семья устанавливает над ним опеку.

1845 — знакомится с Эженом Делакура. Издает брошюру «Салон 1845 года». Заводит дружбу с Шарлем Асселино. В момент депрессии совершает неудачную попытку самоубийства. Разрешает опубликовать несколько своих стихов Прива д'Англемону под его именем. Пишет очерки для газет.

1846 — пишет новую брошюру «Салон 1846 года».

1847, январь — пишет новеллу «Хвастунья».

1848, февраль — во Франции разразилась революция. Бодлер совместно с Тубеном и Шанфлери основывает газету «Салю пюблик».

Апрель — Бодлер становится секретарем редакции газеты «Трибюн насьональ».

Июль — публикует рассказ Э. По «Месмерическое откровение» в своем переводе. Становится главным редактором «Репрезантан де л'Эндр».

1849, январь — пишет заметку о произведениях Шанфлери.

1850, июнь — публикует стихи «Вино порядочных людей» и «Воздаяние гордости» в «Магазен де фамий».

1851, апрель — публикует в «Мессаже де л'Ассамбле» 11 стихотворений.

Август — пишет очерк о Пьере Дюпоне.

1852 — публикует очерк об Э. По в «Ревю де Пари» и два его рассказа в своем переводе. Влюбляется в Аполлонию Сабатье.

1853–1856— пишет стихи, посвященные, в частности, и Аполлонии Сабатье, очерки, переводит рассказы Э. По.

1857, июнь — публикует сборник стихов «Цветы зла».

Август — Бодлер предстает перед судом по обвинению в публикации цикла стихов «Цветы зла», оскорбляющих общественную мораль. Его приговаривают к штрафу в 300 франков. Аполлония Сабатье наконец отвечает взаимностью на чувства поэта, но их роман заканчивается в одночасье. Бодлер публикует маленькие поэмы в прозе под общим названием «Стихи-ноктюрны».

Осень — публикует очерки на различные темы искусства.

1858 — занимается переводами, пишет стихи.

1859 — пишет эссе «Салон 1859 года».

1860 — издает книгу «Искусственный рай».

1861, октябрь — в свет выходит второе издание цикла стихов «Цветы зла». Страдает от сильных недугов, последствий сифилиса.

1862 — Бодлер тщетно пытается баллотироваться во Французскую академию. Пишет статью о романе В. Гюго «Отверженные».

1863 — публикует обширную статью, посвященную памяти Э. Делакура, и очерк о К. Гисе.

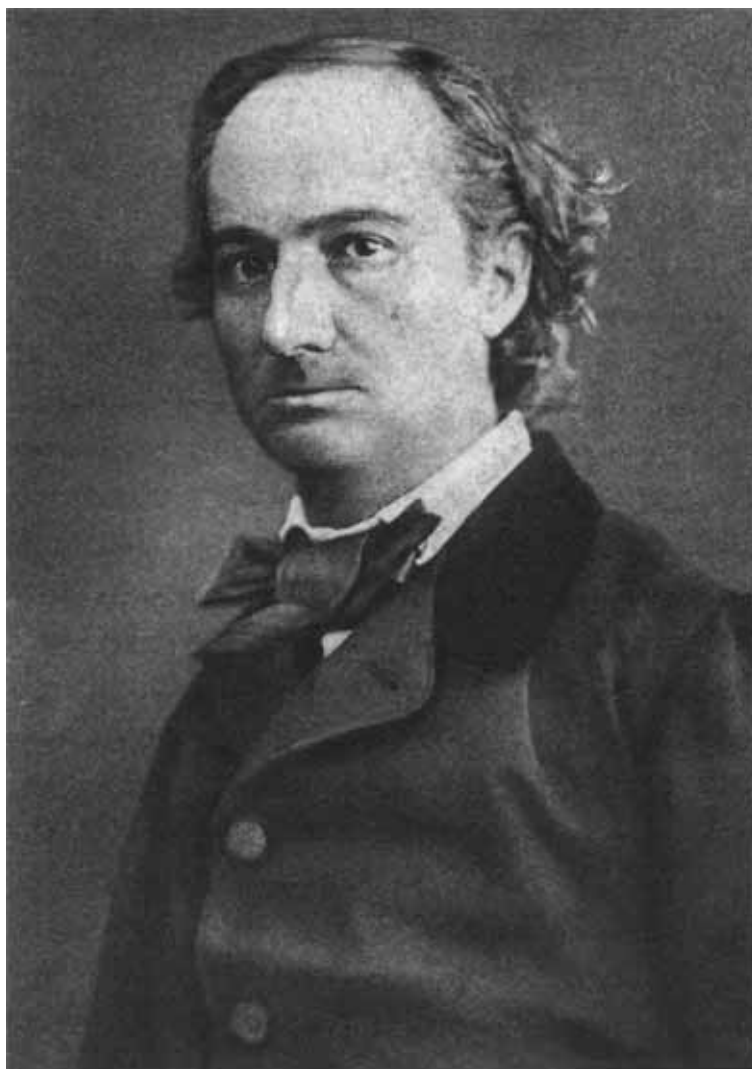
1864, апрель — едет в Брюссель, где читает лекции в Кружке художников и литераторов.

1865 — принимается писать нелюбимую книгу о Бельгии.

1866, март — в Брюсселе Бодлера разбил правосторонний паралич.

*1867, 31 августа* — Шарль Бодлер скончался в Париже.

## Иллюстрации



*Charles Sandclair.*



Жозеф Франсуа Бодлер, отец поэта.



Внезапная любовь. Ж. Ф. Бодлер.



Площадь Эстрапад в Париже в 1839 году. Литография Шампэна с рисунка Ренье.



Улица Отфёй, по которой Шарль сделал свои первые шаги.



Единственное дошедшее до наших дней фото, на котором запечатлена Каролина Опик, мать Шарля Бодлера.





Жак Опик, отчим поэта.



Вид Лиона. С гравюры Фонвилля. 1851 г.



Альфонс Бодлер, старший брат Шарля по отцу.



Лицей Людовика Великого в Париже во времена Бодлера. *Фрагмент литографии Башелье.*



Шарль Бодлер — ученик лицея.



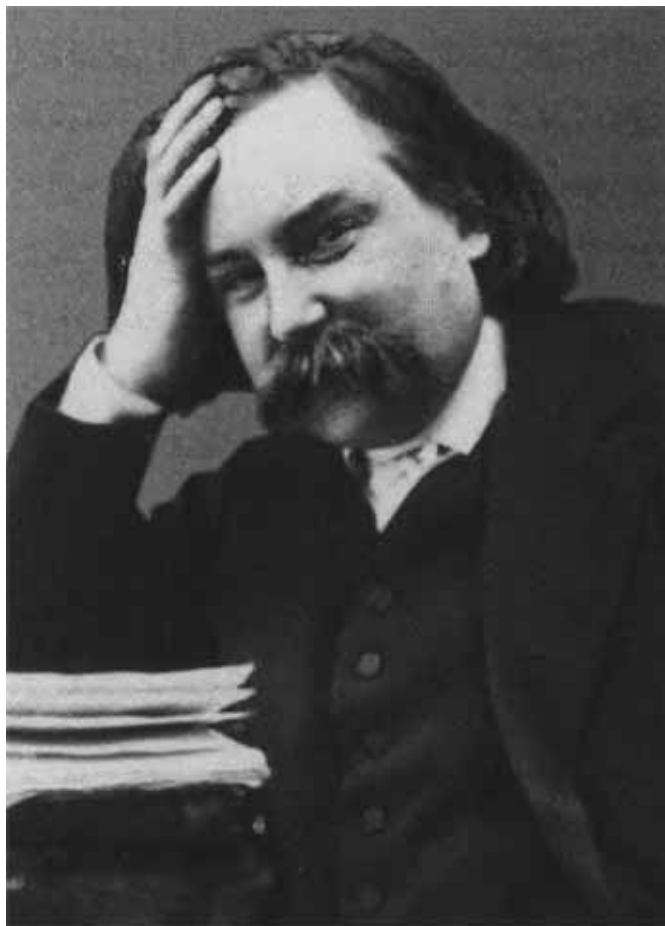
Бодлер в двадцать лет.



Эрнест Пранон.



Филипп Шенневьер.



Шарль Асселино, друг всей жизни.

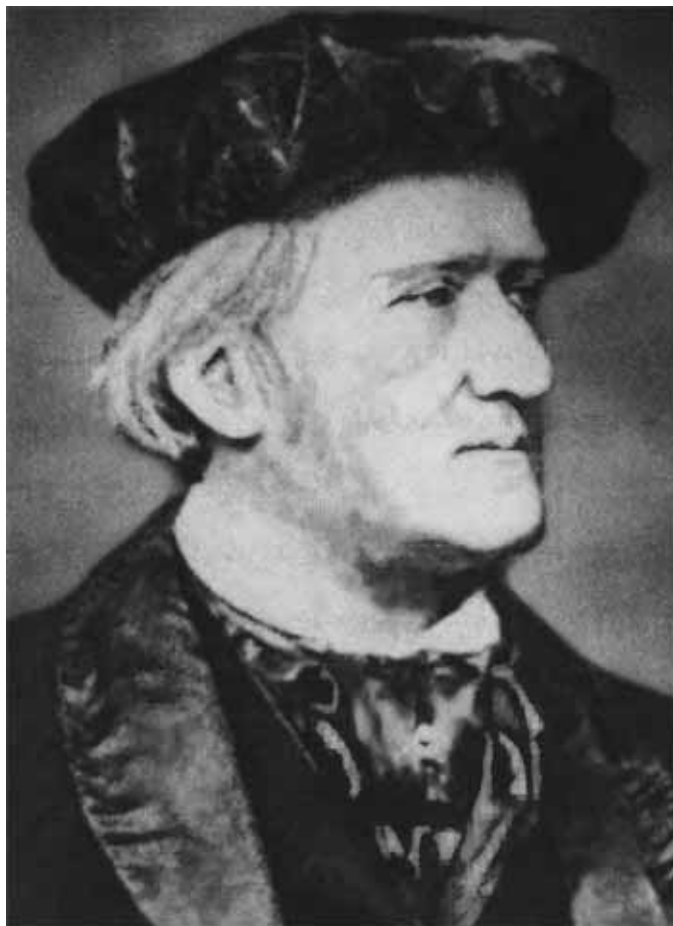


Госпожа Отар де Брагар.



Порт-Луи на острове Маврикий.





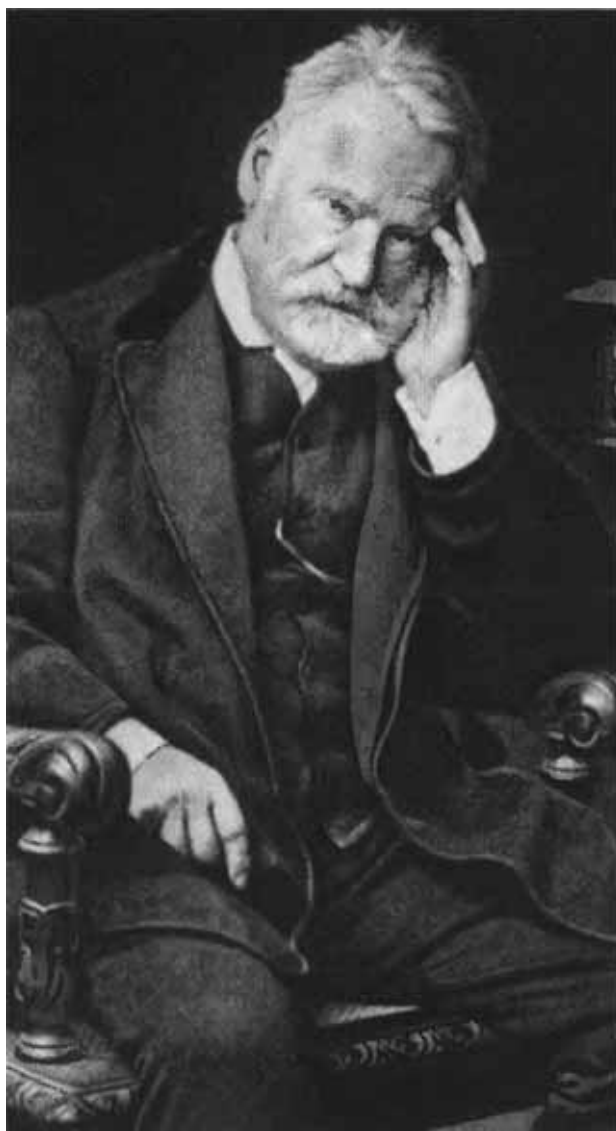
Рихард Вагнер.



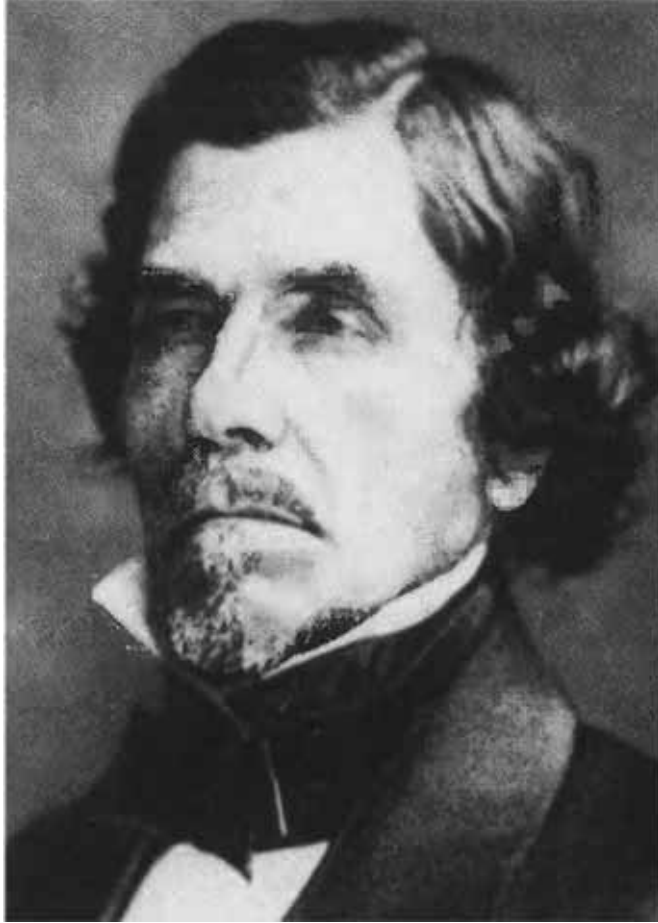
Эдгар По.



Жорж Санд.



Виктор Гюго.



Эжен Делакруа.



Эдуар Мане.



Теодор де Банвиль.



Сент-Бёв.





Нарсисс Ансель.



Шанфлери.



Феликс Надар.



Гюстав Курбе. *Фото Надара.*



Жанна Дюваль. Рисунок Ш. Бодлера.



Госпожа Сабатъе.



Могила Бодлера на кладбище Монпарнас в Париже. Фото В. Никитина.



Могила Бодлера на кладбище Монпарнас в Париже. Фото В. Никитина.



Шарль Бодлер в последний год жизни.

---

**notes**



## **Примечания**

**1**

Перевод М. Цветаевой.

Перевод В. Левика.

Перевод В. Микушевича.

Перевод М. Цветаевой.

Перевод В. Брюсова.

Перевод И. Лихачева.

В письме к своей матери, датированном 30 декабря 1857 года, Шарль Бодлер писал: «Несколько месяцев назад у одного торговца в пассаже Панорамы я обнаружил картину моего отца (обнаженную фигуру, лежащую женщину, которая видит во сне две обнаженные фигуры). У меня совсем не было денег, даже на то, чтобы оставить задаток, а потом нестерпимый поток повседневных пустяков заставил меня забыть об этом. <...> Отец был отвратительным художником; но все эти старые вещи имеют моральную ценность».



А прежде, 11 апреля, Жозеф Франсуа Бодлер должен был заявить властям о рождении сына.

Родной дом Шарля Бодлера был разрушен в середине XIX столетия в связи с прокладкой нынешнего бульвара Сен-Жермен. В здании, возведенном на его месте, между улицей Отфёй и бульваром Сен-Мишель, долгое время размещалось издательство «Ашетт».

Слова принадлежат Жаку Крепе (1874–1952). Вместе со своим отцом Эженом Крепе (1827–1892) он заложил основу современным исследованиям творчества Шарля Бодлера.

Постановка драмы Виктора Гюго «Эрнани» в феврале 1830 года, в самый канун Июльской революции, послужила сигналом для знаменитой «битвы романтиков с классиками», завершившейся победой новой школы.  
(Прим. пер.)

Жерар де Нерваль перевел в 1828 году первую часть «Фауста», а в 1840 году вторую.

Кафе на улице Лепелетье существовало с 1837 по 1859 год. По преимуществу там собирались литераторы и художники. (*Прим. пер.*)

Перевод Эллиса.

Этот сонет получит название «Креолке» и появится в журнале «Артист» в 1845 году (первое стихотворение Бодлера, опубликованное под его именем), прежде чем войдет в 1857 году в сборник «Цветы зла».



Эммелина Отар де Брагар скончалась в возрасте тридцати девяти лет в том же 1857 году, на той неделе, когда вышли в свет «Цветы зла».

Перевод Эллиса.

Их будет более ста тридцати, вплоть до 1844 года.

Альфонс Луи Констан (1810–1875) прославится под псевдонимом Элифас Леви двумя своими основными эзотерическими работами: «История магии» (1860) и «Догмат и ритуал высшей магии» (1861).

Перевод Эллиса.

Ш. Бодлер. «Искусственный рай». Перевод В. Алексева.

*Джордж Броммель* (1778–1840) — английский денди и законодатель мод.

Из глубин (*лат.*), начало покаянного псалма.



*Адольф Тьер* (1797–1877) — французский государственный деятель, историк.

*Эмиль Бернар* (1868–1941) — французский художник.

Эти четыре имени приводились в брошюре «Салон 1846 года».

*Оноре Домье* (1808–1879) — французский график, живописец и скульптор.

Любопытно, что Пьер Леру придумал также слово «символизм».

Имеется в виду Великая французская революция 1789–1794 годов.

*Франсуа Гизо* (1789–1874) — французский историк. С 1847 года глава правительства, свергнутого революцией 1848 года.

*Франсуа Венсан Распай* (1794–1878) — французский естествоиспытатель, участник революции 1830 года, один из руководителей революционной демократии в революции 1848 года.



*Альфонс Ламартин* (1790–1869) — французский писатель-романтик, политический деятель. Член Временного правительства в 1848 году.

Слова Жозефа де Местра.

*Луи Блан* (1811–1882) — французский утопический социалист. В период революции 1848 года — член Временного правительства.

*Дезире Низар* (1806–1888) — французский литературный критик, член Французской академии.

Перевод Эллиса.

Перевод Н. Гумилева.

Перевод В. Микушевича.

Перевод М. Аксенова.



Перевод Эллиса.

Отец юмориста Альфонса Алле.

Бодлер сам употребляет это слово применительно к себе в письме к матери от 26 марта 1860 года.

Перевод М. Цветаевой.

Перевод П. Антокольского.

Перевод Эллиса.

Этот очерк, немного дополненный, вскоре был издан отдельной книжкой в издательстве Дантю.

Институт Франции, основное официальное научное учреждение, созданное в 1785 году, объединяет пять академий.



Эта картина Мане находится в музее Будапешта.

Там в XI веке было основано бенедиктинское аббатство, с 1833 года ставшее центром бенедиктинского братства Франции.

По-французски — гора.

Этот текст Камиль Лемонье написал много лет спустя после лекции.

Доверчиво (англ.).

Слова из стихотворения Ш. Бодлера «Веселый мертвец».